

Глава III
МОДЕЛИ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ В ДИСКУРСЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ

§ 1. Современные парадигмы политической науки:
Россия как объект описания

Вопросы методологии политической науки отсылают к макротеоории, поиску той или иной сущности, «трансцендентального означаемого» (термин Ж. Деррида) в ее основании. Метаязык представляет собой априорную структуру политологического метода. Но обращение к содержательным парадигмам политической науки и их реализации на конкретном политическом объекте является переходом от теории и методологии к прагматике, к реальности политики (власти), данной в своей фактичности через описание политической действительности тем или иным метаязыком. Это обращение к тому, «как» реализуется методология, выраженная в том или ином метаязыке, к тому, «какой» смысловой образ политики он создает. Речь идет о переводе ценностных установок метода в прикладную сферу, в анализ политической практики и ее оценку.

Обозначенные выше «идеалтипические» модели метаязыка политической науки прекрасно онтологизируются на примере российского политического универсума, где они не просто операционализируются в политических парадигмах, но и обладают высокой релевантностью. Описанные во второй главе метаязыки политической науки воплощаются в современном российском политическом дискурсе следующими парадигмальными теориями: тавтологический метаязык воплощается политической теорией модернизации (транзитология), парадоксально-критический метаязык соответствует теориям цивилизации, символично-нарративный метаязык воплощается в политических теориях глобализации.

**Транзитологический (тавтологический) метаязык
русской политической науки: парадигма модернизации**

Эта парадигма представляет собой тавтологическое утверждение универсальности ценностей западного по своему генезису Модерна и Просвещения. Она работает на уровне политического как: а) национального и б) идеологического. Предельным уровнем политического процесса и формой, в которой он разворачивается, выступает нация-государство. Мир представляется как потенциальная совокупность наций-государств. Последние выступают в качестве фундаментальных политических субъектов общемирового пространства, выстраивающих свои отношения в логике ценностей и политических институтов Просвещения, причем отношения как внутри, так и межгосударственные. Нация-государство и ценности Просвещения здесь взаимообусловлены: создание наций ведет к осознанию универсальных политических ценностей и наоборот. Обозначенные таким образом политические институты и ценности трактуются как универсальные, как такие, к которым «естественно» прогрессируют все народы мира. Отклонения от этого пути осмысляются как временные патологии политического развития, препятствия технического характера, никоим образом не отрицающие универсальности смыслов понятий демократии, прогресса, индивида и свободы. Ведь любая политическая патология может и должна быть излечена.

В наиболее радикальном виде парадигма модернизации представлена транзитологией, исходящей из универсальности аксиомы о неизбежном преобразовании любого недемократического общества в демократическое. Фабула подобного перехода представляет собой весьма архетипический сюжет о приходе «золотого века» и «конце истории» как достижении всемирного «гражданского» либерально-демократического политического состояния. В данном случае политический идеал отождествляется с вполне конкретным типом политического устройства западных стран. Все внимание теоретиков сосредотачивается здесь на самом разрыве должного и действительного. Политическая теория занята лишь самой ситуацией и необходимостью перехода, поэтому ценностное

измерение политики отпадает за ненадобностью само собой, так как оно уже предписано заранее. Сознание различий здесь нужно лишь затем, чтобы свести их к нормативному тождеству. Суть и значимость различий, возможность и необходимость их устранения не проблематизируются. Речь идет лишь о технических аспектах, условиях, способах и времени перехода к «золотому веку» и далее: «На основе данной модели создаются соответствующие транзитологические модели – «циклическая», «второй попытки», «прерванной демократии», «прямого перехода», «деколонизации» и т.п.»¹

Парадигма модернизации, используя классические просвещенческие дуальные схемы: община-гражданское общество, демократия-тоталитаризм, архаическое-современное, аграрное-индустриальное, сельское-городское и т.п., будучи оценена с точки зрения морали, несомненно, приобретает манихейский характер, когда дуальные связки приобретают вид борьбы добра-зла. Здесь политологические работы, классифицируя политическую реальность, предписывают заранее те или иные моральные свойства той или иной социополитической общности, заявляя при этом о своей культурной, идеологической и моральной нейтральности.

Однако дело в том, что радикализированное моральное содержание здесь просто уже наличествует «внутри» самих политологических категорий, не требуя обращения к чему-то «извне», за пределами данной модели политической науки. Мораль здесь уже «онаучена» как технологическая составляющая политологических понятий, часто ассоциируясь с «полезностью», эффективностью и «утилитарностью». Поэтому необходимость предварительной рефлексии о моральности политических суждений или их генезисе отвергается как что-то излишнее и уже решенное. В силу этого обстоятельства данный политический дискурс с большой вероятностью приобретает черты мессианства, нетерпимости, дидактизма и «прогрессорства», обращаясь к анализу политической практики.

Проблема политической этики обходится стороной, исключается из дискурса модернизации, так как этический контекст, в

¹ Гуторов В.А. Современная российская идеология как система и политическая реальность: методологические аспекты // ПОЛИС. 2001. № 3. С. 73.

котором ведется политическое исследование, фактически отождествляется с господствующими политическими нормами как естественными, «фоновыми». Интерес к политической этике порицается, поскольку угрожает эффективности господствующих ценностей элиты. В данном дискурсе наукообразное объяснение «запрета на проблематизацию политической этики» состоит в том, что интерес к этике влечет за собой необходимость восстановления идеологии, призванной эту этику обеспечивать с точки зрения реальных интересов политических субъектов и мешающей исследованию объективных политических закономерностей. Однако страусиная тактика «незамечания» влияния властной идеологии на политическую науку не отменяет этого влияния, но, наоборот, способствует его изоэтрности и эффективности.

Теория модернизации – это структура познания тавтологического метаязыка политической науки. Он оформляется в виде культурно нейтрального метаязыка политической Нормы, потенциально распространяемой на любой политический универсум.

Применительно к России идеология данного метаязыка заключается в том, что необходимо применить универсальную политическую теорию к частному предмету – России, которая не обладает какой-либо «особенностью», собственной логикой исторического и социокультурного становления. Поэтому «российская политология как таковая», исходящая из логики отличий и «особенного», здесь просто невозможна. В России этот метаязык озвучивает транзитологическая (тавтологическая) теория, пронизанная духом Просвещения, Панлогизма и Евроцентризма, направленная на прямое заимствование ценностей, политических институтов, политической теории на Западе, представляющем земную реализацию трансцендентного политического идеала. Исторически тавтологический метаязык модернизации (транзитологии) связан с «западничеством», начиная с Петра I и заканчивая диссидентами, романтическими либералами, правыми политическими партиями (СПС, «Яблоко», ДВР, «Либеральная Россия»), «демшизой» – вечными «клиническими» диссидентами.

Ключевыми понятиями логосферы модернизационного метаязыка являются гражданское общество, демократия, конкуренция,

рынок, права человека и т.д. Обобщающим ценностным концептом, включающим и легитимирующим в политическом праксисе все перечисленные, стало понятие «реформы». «Реформа» – ключевой легитимирующий концепт в дискурсе транзитологического метаязыка российской политической науки 90-х гг. XX в. Политический праксис «реформ» опирался в модернизационном дискурсе на сверхценность негативной «свободы от».

Парадигма модернизации тавтологического метаязыка легитимировала новую российскую элиту самым переходом от патологического – критика тоталитарного советского прошлого, к идеальному – апология «цивилизованного общества» через властный концепт «реформ». Однако этот переход в «небо на земле» не сработал или же сработал дефектно в Новейшей политической истории России. Поэтому российская политика, с точки зрения теории модернизации, так и осталась в подвешенном, «извечно переходном» состоянии, с утраченными «началами» и туманными «целями». Возникает удобная схема российской «демократии с прилагательными» в рамках бинарного кода норма–исключение. Эта же схема представляет собой оправдательный дискурс реформаторов, объясняющих, почему реформы не достигли намеченных целей: «Среди реформаторов до сих пор продолжает бытовать точка зрения, что народ не тот, не подходящий для реформ. Поэтому, чтобы проводить настоящие реформы, нужно обманывать народ. Иначе он будет против... Таким образом, новый либеральный миф о народе строится на **полном отрицании всего предшествующего опыта**. Прошлое как бы и нет, поскольку народ только что возник»¹.

Сегодня уже более чем неубедительно выглядят политологические описания политического режима России, которые пытаются включить отечественные политические реалии в поле «универсальной» политической теории модернизации через черный ход «патологического» отклонения от «западной нормы»: «прото-» и «квази-демократия», «затянувшийся транзит», «фасадная демократия» (Д. Фурман), «эрзац-демократический режим» или «авторитарная демократия» (А. Мигранян, В. Рукавишников), «полудемократия»

¹ Цуладзе А. Политическая мифология. М.: ЭКСМО, 2003. С. 297-301.

(Л. Гордон), «российский гибрид» (Л. Шевцова)¹. «Постсоветская демократия характеризуется как «дефектная», «заблокированная», «нелиберальная» и т.д.»². В экономическом срезе этот «патологический дискурс отклонения» дополнительно иллюстрируется теориями «государственно-монополистического» и «феодального» капитализма, и даже «индустриального феодализма»³.

Вместе с тем даже актуальный идеологический тренд советологии, прямо ангажированной национальными интересами США, связан именно с исчерпанием и «отказом от дискредитированного понятия «реформа» и переходом к эффективной фразеологии, связанной с «возрождением», «развитием», «государством» и т.п.⁴

Фактически в рамках теории модернизации речь идет об адекватности/неадекватности, соответствии/несоответствии российской политики «идеям» (в платоновском смысле) свободы, демократии, рынка и т.д., имеющимся в сознании теоретического субъекта в качестве «идеальных». Причем эта идеальность неререфлексируема, она выступает как символ веры, нечто «интуитивно ясное», самоочевидное для данного субъекта познания. Более того, подобная неадекватность, предвзятость, идеологичность классификации «модернизаторами» описываемых ими же политических феноменов и проблем сводит к нулю все дальнейшие изыскания. Ведь описываемой политической реальности России дискурс модернизации отказывает в собственном «имени», т.е., по сути, в самостоятельном, уникальном характере развития. Соответственно, политическая реальность остается как неназванной, так и непознанной. Поэтому «общечеловеческие» политические понятия, которыми оперирует теория модернизации, такие как политическое сознание, политическая культура, права человека, демократия, свобода, гра-

¹ Гуторов В.А. Цит. соч. С. 73.

² Бляхер Л.Е. Властные игры в кризисном социуме: преобразование российской институциональной структуры // ПОЛИС. 2003. № 1. С. 63.

³ Бычкова О.В. Постсоветское рыночное реформирование: политэкономические концепции // ПОЛИС. 2001. № 6. С. 164.

⁴ Прозоров Б.Л. О судьбах советологии // Вестник МГУ. Сер. 12. Политические науки. 2001. № 6. С. 26.

жданское общество и т.д., превращаются в отечественной политической науке в симулякры и заклинания, с помощью которых невозможно решить «реальных» теоретико-методологических и практических проблем как политической науки, так и самой российской политики.

Тем не менее ряд авторов (Н. Смелзер, П. Штомпка и др.) пытаются «спасти» дискурс модернизации, приписывая «переходным обществам», прежде всего Восточной Европе и странам СНГ, «социокультурную травму» (опять-таки «патология»!), которую необходимо преодолевать путем «гражданского ремонта» и «мультикультурализма» (термины Дж. Александера).

Ключевая проблема легитимности современной российской элиты заключается в нарастающем кризисе дискурса господствовавшего до недавнего времени тавтологического политологического метаязыка и соответствовавшей ему теории модернизации, констатирующей необходимость движения к универсальной политической «модерности» (современности), отождествляемой с современной ситуацией Запада: «...“транзитологическая” парадигма есть лишь стыдливое воскрешение из мертвых той самой теории модернизации, которая процветала в 1950–1960-е гг., будучи предназначена для возникавшего тогда “третьего мира”, и почил в 1970-е, выявив свое интеллектуальное банкротство и политическую иррелевантность»¹. Более того, универсальность теории транзита, следующей ценностям, рецептам Просвещения и Модерна, становится все более проблематичной в условиях Постмодерна, в условиях политической, экономической, культурной «глокализации», осуществляемой по вполне четким «двойным стандартам». Двойственность процесса глобализации-локализации уничтожает универсальность, приводит к непреодолимости глобальных границ Нормы/не-Нормы, отвергающим саму возможность «транзита».

Западная советология, представлявшая поначалу авторитетный дискурс в формирующейся российской политической науке 80-х – середины 90-х гг. XX в. (З. Бжезинский, Р. Пайпс, Х. Арндт,

¹ Капустин Б.Г. Конец «транзитологии»? О теоретическом осмыслении первого посткоммунистического десятилетия // ПОЛИС. 2001. № 2.

Р. Саква, А. Шапиро и др.), не смогла ни предсказать, ни осмыслить в концептуальных рамках парадигмы транзитологического метаязыка «перехода», трансформаций постсоветской политической реальности. Дело в том, что советология исходила во многом не из сущности происходящих в России политических процессов, не из самой политической реальности, но из привилегированного метаязыка собственных норм и ценностей, транслируемых на «внешнюю политическую реальность», инокультурный «варварский» политический объект – современную Россию.

Господство «западнического» подхода в конце 80-х – середине 90-х гг. XX в. продемонстрировало разрушение теоретической субъектности отечественных исследователей: и в реальной политике, и в политических исследованиях, и в идеологии. Игнорирование своих значимых отличий, когда не проводится граница, *difference*, не развивается собственная аутентичная макротеория (метaparadigma), но, наоборот, дискредитируется старая макротеория и стираются все границы, приводит к модели «протезной» политологии: техническому переложению «правильной» теории Другого Субъекта на отечественный объект, политическое означаемое. В качестве примера можно привести некритичное замещение, вытеснение морализаторским концептом демократия-тоталитаризм (Ф. Хайек, Х. Арендт, З. Бжезинский, К. Поппер и др.), выработанным в условиях холодной войны, аутентичного концепта капитализм-коммунизм.

Здесь западная политическая теория, заполучив статус универсального концепта, разрушает теорию, аутентичную данной политической реальности. Это означает, что Западу предоставляется право субъекта политической теории на российском политическом поле. То есть право судить инокультурную реальность, исходя из своих культурно-исторических условий и конкретных политических задач, своей морали. Иными словами, нарушается сама автономия российского политического поля, обуславливается его неполноценность, несамодостаточность, зависимость от чего-то вовне его.

Любая политическая реальность, означаемое, тело власти не выносит двух систем означивания, нейтрализующих друг друга. Доминирование Другого Субъекта, связанное с неаутентичной системой означивания, ведет к тому, что Тождественный Субъект, по-

теряя свою субъектность на макроуровне исследования, т.е. на уровне парадигмы метаязыка описания, способен лишь отвечать на актуальный вопрос «как», затушевывая неподъемные для него и фундаментальные «зачем» и «почему».

Тожественный Субъект, таким образом, начинает сливаться с объектом, демонстрируя неспособность к критической рефлексии, своего рода форму политического аутизма: «Тенденция к выражению динамики либерально-радикальной интуиции в политических экспериментах была персонифицирована в ученых-обществоведах, пришедших в высшие эшелоны российской власти. Они... овладели формой-алгоритмом научной деятельности: теория-гипотеза-эксперимент. Эти ученые начали освобождать означенные от их зависимости от означаемых...»¹. То есть символически освобождать, уступать политическую реальность для ее нормативной интерпретации Другим Субъектом.

Проблема еще и в том, что внутреннего, российского субъекта власти в целом устраивает существующая политическая ситуация, он заинтересован в ее стабилизации. Эта ситуация характеризуется отсутствием у нынешнего российского субъекта власти (элиты) достойного классового антагониста внутри политического поля, который мог бы выразить массовые интересы путем борьбы за равные, справедливые правила игры для всех агентов политического, экономического и прочих полей. Ни народ, ни «молчащие массы», ни институты гражданского общества, ни рабочий класс (трудящиеся) не проявляют никаких признаков субъектности и политической активности в борьбе за свои интересы, ценности, права. Скорее наоборот, в сравнении с советским временем произошло разрушение форм выражения значимых политических интересов, деградация субъектности и властной влиятельности масс, низов, народа.

Реальный субъект власти не заинтересован в адекватном и содержательном описании сложившейся политической реальности, режима, системы – слишком она несправедлива, недемократична, т.е. не опирается на интерес большинства, и непопулярна. Отсюда

¹ Качанов Ю.Л. Опыты о поле политики. М.: Институт экспериментальной социологии, 1994. С. 89.

любовь власти к «внешним» политическим метаязыкам: теориям, идущим впереди практики, теории модернизации (о светлом будущем), теориям либерализации (подчеркивающим ужасное советское прошлое), транзитологическим теориям, описывающим безболезненный и неизбежный переход от второго к первому. В любом случае, делиться властью, т.е. демократизироваться, социализироваться и национализироваться, иными словами, возвышать кланово-корпоративные интересы до уровня национальных, политическая элита не будет, в отсутствие реальной оппозиции как внутри, так и вне ее: народа, масс, трудящихся, низов, серьезных оппозиционных вызовов, экономических кризисов и реальных внешних угроз.

Принадлежность тавтологического метаязыка элите определяет логику описания общества, связанную с подменой политических, социологических, экономических категорий анализа: классы, государство, идеологии, партии, справедливость, – акцентирующих внимание на реальной конфликтности политического взаимодействия внутри общества различными культурологическими, антропологическими терминами: нация, индивид, язык, религия, этнос, культура, которые якобы можно решить путем «интеллигентного консенсуса», путем воспитания толерантности, т.е. безразличия, внедрения гражданского общества и т.п. Фактически обосновывается идея отчуждения массового человека от его реального социально-политического интереса в пользу «общепримиряющей национальной идеи», обычно, как это ни странно(!), совпадающей с интересом властного субъекта, контролирующего ключевой политический институт – государство.

Новейшая политическая история продемонстрировала, насколько далек тавтологический метаязык, возникший в определенных социополитических и исторических условиях Запада, от России, которую он пытался, особо «не вникая», идеологически классифицировать как не-Норму. Однако проблематичность бинарной ценностной парадигмы в основании этого метаязыка лишает его какой-либо возможности адекватного методологического и фактологического осмысления того, что он описывает. Ценности и традиции, лежащие в основании политических институтов и форми-

рующие российский политический универсум, отсекаются как второстепенные в рамках теории модернизации, основанной на фундаментальных установках объективизма, прогрессизма, культурной однородности и универсальной рациональности Запада. Причем «тот факт, что неотвратимые законы и тренды истории тоже есть чьи-то перспективы и стратегии, которые “рациональны” лишь в той мере, в какой за ними стоит сила победителей, не рефлексировается теорией модернизации и современной “транзитологией”, что и делает имморализм... элементом их общей парадигмы»¹.

Дело в том, что сам тип западной «модерности» представляет псевдоуниверсальную нормативную схему из двух взаимообусловленных и, в целом, второстепенных признаков Модерна: развитой экономики, обязательно в рыночной форме, и либеральной демократии – «политической свободы».

Адекватно предложенная схема работает только при анализе не универсальной, а именно уникальной социокультурной реальности Запада, как аналитический метаязык «для внутреннего употребления». Но его распространение вовне, в сравнительном политологическом контексте, обнаружило несвязность даже этих признаков. Пример – как феномены недемократических, но рыночных индустриальных монстров (Китай, Южная Корея, «азиатские тигры», Чили), так и демократических, но нерыночных государств. В эту категорию мы бы отнесли весь бывший соцлагерь, где в экономической сфере доминировало государство и плановая экономика, хотя и с определенными натяжками по поводу демократичности, которая, тем не менее, была закреплена законодательно².

В целом, смоделировать политическую логику свободного рынка можно и в альтернативном, негативно-критическом ключе. Эта альтернативная логика исходит из реального противоречия «экономикс» и политэкономии. Дело в том, что реальная конкуренция многих субъектов на свободном рынке, уменьшающая из-

¹ Капустин Б.Г. Цит. соч.

² В качестве радикального примера можно вспомнить о демократических, но нерыночных, даже рабовладельческих историко-политических образованиях, таких как древнегреческие полисы, Римская республика.

держки/цены в борьбе за потребителя, может трактоваться и лишь как частный случай, неустойчивое асимметричное положение, которое рано или поздно закономерно преобразуется в устойчивое состояние дуополии/монополии, симулирующей конкуренцию через различные отраслевые соглашения о ценах и договоры о долях на рынке. Политическим аналогом является в данном случае неустойчивость многополярного мира, например, мир между Первой и Второй мировыми войнами, в сравнении с однополярным (Римская империя) и биполярным (СССР-США) мирами. Не секрет, что вне рыночные договоренности крупных корпораций гораздо эффективнее и менее затратны, чем издержки «честной конкуренции». Поэтому классические примеры конкуренции, которые описаны в учебниках «Экономикс», являются вовсе не «естественными», а, как минимум, нормативно-идеологическими примерами и состояниями экономики.

В негативной интерпретации перенос логики чистого рынка на политику ведет к подчинению политики интересам корпораций, превращению избирателей в потребителей, а их политических усилий в «инвестиции в политику». Это превращает политику в функциональный придаток, обслуживающий интересы крупных финансово-промышленных структур. Поэтому капитализм и свободный рынок антидемократичны. То есть политическая демократия устанавливается не благодаря, а вопреки логике чистой прибыли, которая игнорирует любые социальные издержки бизнеса. Демократия может функционировать только через ограничение капитализма: профсоюзы, налоги, антимонопольное законодательство, государственный контроль, ограничение эксплуатации, введение ограничений эксплуатации труда. Иными словами, через социализацию и «гуманизацию» бизнеса, возможные лишь посредством сильного государства, обладающего собственной политической логикой, независимой от интересов крупного бизнеса.

Реальная представительная власть, опирающаяся на интересы большинства, часто входит в противоречие с интересами ФПГ, представляя классический конфликт Труда и Капитала. Свободный рынок заинтересован в ослаблении государства через приватизацию, денационализацию, снижение налогов, отмену законо-

дательных регулятивов, свободные неконтролируемые финансовые потоки. Приватизация политических институтов финансово-промышленными группами лишает их общественного (демократического) статуса, т.е. они перестают определяться интересами тех, кто их выбирает. Но в таком случае политическая система, вне зависимости от того, демократическая она или нет, перестает оказывать значимое влияние на условия жизни большинства населения.

Здесь ложное отождествление капитализма с демократией возникает из-за того, что капитализм заинтересован в поддержке демократической рассредоточенности политической власти, облегчающей контроль политических институтов в рамках финансирования публичной политики. Наоборот, плохо поддаются контролю со стороны нелиберального экономического порядка режимы, где политическая власть находится в концентрированном виде, в руках сильного государства независимого от публичной политики, а следовательно, и от больших денег. Здесь государство обладает собственной политической логикой, связанной, как правило, с опорой на интересы большинства (Труда), т.е. не на формальную, а на реальную демократию. Это позволяет политической системе автономизироваться от экономики, а в случае необходимости и противопоставлять себя интересам Капитала, проводить антикапиталистические, антирыночные преобразования, регулировать рынок с точки зрения улучшения условий жизни большинства. То есть государство здесь ставит демократическую ценность справедливости выше элитарной ценности экономической эффективности. И обвинения сильных политических систем в несовременности и тоталитаризме на основании того, что в них жестко регулируется экономическая деятельность, представляют в большинстве случаев всего лишь манипулятивную риторику.

Ложное отождествление капитализма и демократии обернулось, в конечном счете, как кризисом отечественного перехода к «демократическому капитализму», т.е. построению «демократии для народа, но без народа», так и кризисом самой либеральной демократии на Западе, опровергающим универсальную схему ото-

жествления рынка и демократии, согласно которой построить политическую демократию можно только как следствие функционирования рыночной экономики. Этот кризис западного капитализма осознается и формулируется в идеях постмодернизации, антиглобализации, экологических и прочих нонконформистских движений, критике универсальности проекта Просвещения. Пример России показывает, что либерализация экономики привела к ее «декапитализации» и свертыванию производства и, параллельно, сопутствовала нарастающей элитаризации (де-демократизации) политики и росту общественного неравенства. Иными словами, либерализм антидемократичен, а демократия уравнительна, поэтому их сочетание неестественно и может быть обусловлено только внешними причинами, например, «холодной войной» и наличием СССР, заставлявшими западный либерализм быть «демократическим».

Поэтому императивный транзитологический метаязык включает сам себя в идеологическую ловушку, когда пытается подогнать отечественные политические означаемые под идеализированные нормативные схемы, так как в данном случае выписка рецепта предшествует анамнезу болезни, которая вдобавок зачастую симулируется самим врачом. Речь идет о декларации этической нейтральности в виде позитивистской объективности при отборе фактов и интерпретации ценностей. Ранее уже говорилось, что объективность – это привилегия властного дискурса в политической науке, дискурса скорее идеологического, чем научного. Но дело даже не в этом. Политика и политология направлены именно на ценности, на субъективное, на измерение сознания и самосознания субъектов, рефлексии, т.е. на саму «надстройку» общества, а не на объективный базис, которым занимается экономика. Описание структуры политических отношений прямо зависит от положения исследователя в этой структуре: социального, возрастного, экономического и оценки им этой структуры с точки зрения должного, желаемого, идеального. Поэтому метаязык, направленный на субъективное, но изначально руководимый некими объективными непреложными закономерностями, отсекающими все субъективное и сомнительное, не может быть этически нейтральным, если только он прямо не предназначен для целей

политического управления вместо поиска истины. Тогда этот метаязык теряет статус научного.

Идейный провал и резкое свертывание публикаций в политологических журналах транзитологических теоретических рецептов для России, а также в более общем виде кризис, например, привилегированного евроцентричного дискурса в сравнительной политологии, обязан здесь, прежде всего, именно отсутствию методологической рефлексии исследователей по поводу исторических, экономических, цивилизационных, климатических, национальных и т.п. скрываемых или игнорируемых детерминант, выявляемых на собственном опыте или апостериори, плюс некритично используемых нормативных мыслительных схем. «Натянутые концепты», ориентированные на авторитет привилегированного политологического дискурса Запада, попросту «лопнули». Более того, оказалось, что и «...не стоит стремиться найти универсальное познавательное средство, которое поможет раз и навсегда ликвидировать “айсберги” как таковые. “Титаник” не превратится в ледокол; то, что годится для одних случаев, не всегда пригодно для других...»¹

Итак, в российской политической науке 80-х – середины 90-х гг. доминировал транзитологический метаязык и соответствующая ему теория единообразного пути прогресса – теория модернизации, которая, одновременно, служила парадигмой подавляющей части политологических трудов. В них реальные социально-политические феномены, политическая система как таковая осмыслились с позиции идеального, универсального, конечного состояния политики, реализованного Просвещением в виде западного Модерна.

Противоречивость дискурсов внутри отечественной политической реальности, а также ее опытным путем подтвержденная в ходе либертаристских экономических «реформ» и политических экспериментов несводимость к идеалу поначалу мыслились как патология, которую надо привести в соответствие требованиям нормы. Но еще М. Фуко писал, что привилегия нормы как раз

¹ Гельман В.Я. «Столкновение с айсбергом»: формирование концептов в изучении российской политики // ПОЛИС. 2001. № 6. С. 12-13.

оформляется за счет не-Нормы, разум за счет безумия, закон через определение преступления и т.д. Поэтому попытка реализации западного Модерна в глобальном масштабе показала его граничность за счет политического «Иного» и привела к закономерному кризису на самом Западе, осмысляемому как состояние постмодернизации, демодернизации, глобализации, деиндустриализации, виртуализации и т.п. Кризис политических институтов Модерна (массовые партии, массовые профсоюзы, массовое участие) как прямое следствие «овеществления», т.е. реализации и профанизации его фундаментальных идеологических ценностей, показал всю идеологическую уязвимость, исчерпанность, граничность (историческую, цивилизационную) тавтологического метаязыка о политике и соответствующего ему в современности дискурса модернизации, в том числе и в России. Но вместе с теорией модернизации с неизбежностью должен уйти и критический проект Модерна с его парадоксальным метаязыком, как оппозиционный член той же универсальной дихотомии, того же политико-исторического универсума.

Парадоксально-критический метаязык: парадигма цивилизации

Парадигма цивилизации как основного субъекта исторического политического процесса довольно подробно разработана в трудах Н. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби, С. Хантингтона, С.Г. Кара-Мурзы, А. Дугина и др. Она представляет собой критику модернизационной теории, исходящую из того, что ценности Просвещения и Модерна действительно **могут быть универсальны**, но никак не могут быть универсальны те или иные национальные рецепты их реализации. В том же направлении эволюционировала и «критическая школа», размышляющая уже не о судьбах классов и наций, но, к примеру, о судьбах проектов Просвещения, Модерна, роли западной цивилизации в глобализации и мировом разделении труда и т.п. Однако утопический (критический) метаязык оппозиции ставит под сомнение не осуществимость/осуществленность всего проекта Модерна в принципе, а лишь его интерпретацию с точки зрения господствующих классов.

В рамках цивилизационно-критической парадигмы обосновывается тезис о том, что общечеловеческие политические ценности есть условие и атрибут общечеловеческой культуры, которой в реальности никогда не существовало. И говорить от ее имени – значит претендовать на глобальную власть. Общечеловечно человечество лишь по своему генезису, как биологический род. В политико-историческом срезе времени существуют лишь цивилизационные общности, конфликтующие, исторически изменчивые, часто исходящие из противоположных друг другу социально-политических аксиом и ценностей. Соответственно, как в политике, так и в системе политического знания нельзя достичь всеобщих истин на теоретическом уровне. Всеобщими могут быть только политические нормы (ценности), т.е. «что и каким образом политические субъекты должны делать». Причем всеобщность политических норм–ценностей релевантна только в рамках цивилизационных политических универсумов. Нельзя не заметить, что, к примеру, такие «очевидно понятные» для западной цивилизации символы и заклинания, как демократия, права человека, частная собственность, индивидуализм, конкуренция, гражданское общество и др., теряют свою «очевидную» семантическую нагрузку вне ареала Просвещения, а с ней и способность к магической, ритуальной, символической функции объяснения политики, легитимации политической практики. Абсолютизация ценностного метаязыка той или иной цивилизации аналогична очередному, обреченному на неудачу построению «Вавилонской башни».

В критическом метаязыке уровень политической парадигмы поднимается с национального до цивилизационного. Внутри культурно-исторического единства цивилизации обосновываются и легитимируются культурно-исторические отличия и сама чувствительность наций, входящих в цивилизацию, к тем или иным ценностям и институтам Модерна. Внимание исследователей концентрируется не столько на внутренней неоднородности наций-государств, сколько на неоднородности в рамках цивилизаций и отличиях между ними. В рамках цивилизации легитимируется разработка «политического особенного», т.е. исторических, экономических, культурных отличий наций. Признается влияние сложивших-

ся форм политического устройства и правления, «культурологического аргумента», т.е. исторической политической реальности на аутентичный вариант реализации универсальных ценностей, национальные склонности к принятию определенных ценностей и отторжению других.

Осознание цивилизационной граничности проекта Просвещения в современном мире особенно ярко выявило детерминацию политических ценностей культурно-историческими условиями как их открытия, так и реализации. Интенсификация процессов политической глобализации/локализации очень ярко продемонстрировала герметичность и граничность цивилизационных ценностей, насаждение которых в догматичном варианте за пределами аутентичных цивилизационных границ приводит к серьезным конфликтам и отторжению со стороны цивилизаций – объектов «цивилизаторства». Тем не менее политический метаязык Просвещения, как метаязык Запада, остается привилегированным метаязыком политической науки, хотя в нем реализуется свобода выбора «политически иных» цивилизаций в их отношении к Западу – вестернизация, модернизация «своим путем», традиционалистская оппозиция и т.д.

Цивилизационная парадигма указывает на источники парадоксов, возникающих при реализации одних и тех же идей зачастую в антагонистических формах, что осмыслялось в рамках модернизации как патология, «ошибка исполнителей» или «неправильный больной». Деуниверсализация теории модернизации осуществляется через критику национально-государственных проектов Модерна и Просвещения, которые навязывают миру свои «уникальные» способы реализации и «особенные» формы институционального оформления ценностей как нормативные не только в рамках своей цивилизации, но и распространяют подобную установку на все другие цивилизационные общности.

Критический политический дискурс теории цивилизации как раз является реализацией принципа дополнительности, применительно к проекту Просвещения, тем «утопическим жестом», который является необходимой составной частью, условием саморазвития и самокоррекции данного политического проекта. Это критика «изнутри», обнаруживающая культурные ресурсы адаптации, на-

ходящиеся на периферии проекта Просвещения, в маргинальном состоянии. Эти ресурсы активно используются в случае кризиса данного проекта, как раз и наблюдаемого в условиях перехода к Постмодерну.

В отношении России цивилизационный подход – это все еще универсалистская теория познания политики, понимающая Россию уже не как частный, а скорее как особенный предмет, самостоятельную, уникальную реальность. Априорная аксиома цивилизационно-критического метаязыка состоит в том, что любая политическая теория культурно детерминирована, а предмет, к которому ее пытаются приложить (Россия), – уникален и специфичен. Поэтому сведение к универсальной норме является в плане познания иной цивилизации неэффективным методологическим ходом, демонстрирующим теоретическое бессилие и безразличие. Политическая норма цивилизации в данном контексте не может черпаться в идейном пространстве соседней цивилизации. Она может возникнуть только в собственном символическом пространстве цивилизации, неким образом интерпретируя собственное прошлое/настоящее/будущее. Теория цивилизаций представляет собой парадигму парадоксального метаязыка политической критики, надстраиваемого над тавтологическим метаязыком.

В России цивилизационная модель метаязыка, связанная с аутентичностью «своего пути», получила наиболее законченное теоретическое воплощение в отечественном варианте марксизма, как теории капиталистической (индустриальной) модернизации. Построение социалистического общества сначала в отдельной стране, потом в «социалистическом лагере» представляло собой не что иное, как разработку альтернативного критического цивилизационного варианта Модерна. В этом смысле советский марксизм интересен тем, что он вобрал в себя и воспроизвел многие идеи тех, кто ему предшествовал и кого он победил, попутно вобрав идеи повергнутых противников. Речь идет об идеях славянофилов, народников, анархистов (эсеров) и евразийцев.

Особенности аутентичного политического пространства власти в России осмысляются в критическом метаязыке как: а) детерминированные статусом России как империи; б) статусом уникаль-

ной цивилизации; в) нередуцируемостью России ни к Европе, ни к Азии, ни к квинтэссенции того и другого – Россия как Евразия/Азиопа; г) идеократическим принципом построения российского государства. В силу идеократичности содержание идей, их язык, способы выражения, идейная тотальность были чрезвычайно важны. Причем идеократия вовсе не сводилась к универсальному метаязыку марксизма-ленинизма и классовому подходу. Наоборот, официальная идеология государства была лишь внешней выразительной (означающей) формой, в которой нашло свое выражение практически все значительное внутреннее содержание российской политической традиции. Поэтому марксизм был не столько содержанием советской идеократии, сколько наиболее адекватной и близкой российской культурной реальности объяснительной рациональной пленкой идеологии, адаптированной к условиям России. Поэтому отождествление классического марксизма и официальной советской идеологии аналогично отождествлению внешних форм ритуала с его внутренним смысловым содержанием, движением самого духа.

Марксизм в западной цивилизации победил именно потому, что изначально был освоен не как доктрина (западное универсальное прочтение), но как метод, руководство к действию, ревизионистскому, в своей сущности, развитию идей, предполагающему, прежде всего, этическую интерпретацию ключевых экономических «догматов». Только творческая критическая теория внутри марксизма могла обосновать и легитимировать СССР, возникший вопреки его догмам, синтезировать форму марксизма с упомянутыми «почвенническими» течениями.

В институциональном плане постсоветской политики главное изменение в рамках критического метаязыка видится в упразднении КПСС и отсутствии в современной российской политической системе органов или их совокупности, восполнивших бы функции КПСС. Последняя не была партией в традиционном смысле, но как медиатор власти связывала воедино все уровни политической системы, обеспечивая эффективную обратную связь с населением. Сегодня подобного медиатора власти и общества не существует, масс-медиа выполняют совсем другие функции, «гражданского общества» еще/уже нет.

Своеобразие КПСС состояло в том, что оно объединяло в себе принципы политического управления (идеологические) с принципами моральными и религиозными (утопическими), опирала первые на авторитет вторых. Опора на традиционные начала всеобщей этики, пусть и в превращенно светской коммунистической форме, обеспечивала дополнительную степень легитимности, осуществляемую как через институциональную политическую структуру, государство и закон, так и через религиозно-утопическое, идеологическое измерение. «КПСС была не частью государственной машины, а внешним дополнением к ней – общественной организацией, говорящей на ином, нежели государство, языке»¹. Причем этот язык был понятен всему обществу. Сегодня подобное внешнее дополнение к государству отсутствует, а отчуждение государства от основной части общества остается угрожающим. Гражданское общество и партии с этой задачей не справляются, так как первое отсутствует, а вторые являются, прежде всего, лоббистами различных группировок элиты, а не посредниками населения и власти.

Сегодня цивилизационная парадигма метаязыка наиболее рельефно разрабатывается в русле антиглобализма – традиционалистскими и евразийскими цивилизационными теориями, которые уже не столько критикуют проект Просвещения, сколько перспективу реализации глобального пост-Модерна, который оборачивается симуляцией и уничтожением Модерна, контр-Модерном. Здесь ведется, и достаточно успешно, поиск других, нежели просвещенческие, оснований для антиглобалистской критики, интенция которой состоит в том, что «Великая книга новоевропейской демократии до сих пор читалась на национальном уровне. Ее предстоит теперь прочесть на глобальном уровне – с позиций восстановленного суверенитета большинства, призванного демократически контролировать действия элит, подвизающихся на мировом уровне»². Однако существует и пессимистический вариант развития: «Демо-

¹ *Кара-Мурза С.Г.* Советская цивилизация. М.: ЭКСМО-Пресс. Т. 2. 2001. С. 416.

² *Панарин А.С.* Искушение глобализмом. М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. С. 65.

кратия была эффективна в рамках национальных государств, усиление транснациональных политических институтов с их информационными и экономическими технологиями делает публичную политику просто лишней»¹.

Парадоксально-критический метаязык в российской политической науке несомненно коррелирует с «реваншистским мировоззрением» и критикой доминирующего в постперестроечное время «западнического» дискурса власти. Он связан с двумя, на первый взгляд, различными моделями метаязыка, имеющими, тем не менее, общий корень: цивилизационную парадигму и критику «жесткого варианта» Модерна, отождествляемую исторически и социокультурно с Западом.

Первая форма этого метаязыка, ее можно назвать «позитивной», сосредоточена на оправдании и возвышении собственной цивилизационной истории, аутентичного политического универсума, и критике с этих позиций западных политических теорий, находящихся «не в ладах» с незападной социокультурной исторической реальностью.

Вторая, «негативная», форма данного метаязыка связана с принципом «от противного», иными словами, с критикой Модерна изнутри. То есть критикой его попыток покинуть западный политический ареал и без изменений, без отказа от черт «особенного» в пользу черт «всеобщего», реализоваться в ином цивилизационном пространстве. Здесь не столько обосновываются непреодолимые цивилизационные различия, сколько критикуются жесткие формы идеологического экспансионизма и мессианизма западного Модерна, практические попытки взрастить Модерн в западном виде на иной цивилизационной почве, без всяких приемов акклиматизации и гибридизации, что делает эти попытки чрезвычайно неэффективными. Акцент делается и на том, что политические формы и системы ценностей, которые внедряются теорией модернизации от имени Запада, «цивилизованного общества», самому Западу сегодня не присущи либо имели место в его «диком» историческом прошлом.

¹ Неклесса А.И. *A la carte* // ПОЛИС. 2001. № 3. С. 41.

Позитивная версия парадоксально-критического метаязыка построена на апологии России как уникального политического универсума, в рамках которого сформировалась альтернативная Западу модель Модерна, своего рода «традиционный Модерн». Причем отличия от западной модели здесь более важны, чем сходство с ней. Простое копирование Запада, приписываемое транзитологическому метаязыку, оценивается как разрушение собственного политического универсума, его архаизация. Поэтому попытки модернизации России как копирования Запада, начиная с Петра I, западников и заканчивая делящейся по сей день постперестройкой, описываются как провальные, натыкающиеся на глубинный конфликт «космического мироощущения русской культуры и ньютоновской картины мира» (А. Лосев), вследствие того, что «естественные» аутентичные политические реалии пытались поместить в «прокрустово ложе» чуждого пространства представления, т.е. анализировать российскую политику с точки зрения универсальной теории как частный однородный предмет, не имеющий никаких значимых отличий и культурно-исторической специфики. Иными словами, априорная аксиома цивилизационно-критического метаязыка состоит в том, что любая политическая теория не универсальна, не общечеловечна (ее признание означало бы конец современной политики), но культурно детерминирована, а предмет, к которому ее пытаются приложить (т.е. Россия) – уникален и специфичен.

Указывается, что Россия в любом случае не может (да и должна ли) в одночасье создать гражданское общество и само политическое поле, адекватное политической проблематике Запада. Вместе с очевидными достижениями связаны и специфические проблемы Запада, которые России ни культурно, ни исторически не присущи. Западу для создания гражданского общества потребовалось несколько сотен лет, и исходил он из своей уникальной культурно-исторической ситуации и потребностей. Поэтому сама необходимость ценностно-идеологической унификации России с Западом является, по меньшей мере, проблематичной, так же как и универсальный характер «общечеловеческой» теории модернизации и манихейская структура политического мышления Запада, протек-

кающая в форме бинарных оппозиций, таких как цивилизованное-варварское, традиционное-современное, свободное-несвободное, открытое-закрытое, гражданское-тоталитарное и т.п. Более того, само употребление в поле этих оппозиций категорий демократии, свободы, выбора, прогресса, превращает их из содержательных понятий в морально детерминированные символические маркеры, призванные легитимировать вполне определенные политические истины.

Главная ценностная установка, определяющая политологические выводы критического метаязыка, состоит в том, что Россия представляет особый цивилизационный тип с определенными традициями организации своего политического универсума и символами оправдания власти. Поэтому исходная культурно-историческая аксиоматика сущности человека и структурная матрица политики в отечественной политической реальности не только не совпадает, но зачастую даже противоположна той, что доминирует в западной цивилизации.

Основной претензией адептов цивилизационно-критического метаязыка своим противникам является упрек в придании «холодной войне», а также антагонизму советского строя с «капиталистическим» статуса внутренних «идеологических разборок», разрешаемых в рамках универсального **идеологического** дискурса Просвещения и Модерна. Суть конфликта, по их мнению, на самом деле носит фундаментальный **цивилизационный** характер, уходящий вглубь совместной истории России и Запада и вовсе не исчерпывающийся советским периодом. В этой ситуации некритичное принятие метаязыка и ценностей «иной» цивилизации, с помощью которых она описывает глобальную реальность и легитимирует собственную власть, является цивилизационным поражением. Поэтому Россия не может осмыслиться как «интересный» частный случай, который необходимо «исправить» и «включить» в глобальную философию истории западной цивилизации, если Россия не желает потерять свою субъектность на глобальной «шахматной доске» политики.

Напротив, утверждается, что СССР является закономерным, органическим и даже высшим этапом в российской истории, в ходе

которого Россия была полностью модернизирована и окончательно перешла к современности. СССР описывается как самостоятельный сложившийся вариант «социалистической современности», а вовсе не «предсовременность» или «отклонившийся вариант» современного Запада. Доказывается, что различия этих двух вариантов современности – «социалистического» и «либерального» – заключались в субъективных вещах (ценностях), в «надстройке» над общим базисом признаков и критериев современности, т.е. Модерна: мощная индустрия, всеобщее образование, широкий круг социальных прав и гарантий, высокий уровень жизни, легитимность власти и политических институтов в глазах населения и т.п. Обрушение одной из этих «современностей», связанное, прежде всего, с внутренними процессами, происходившими в ней, вовсе не означало, что оставшаяся является победившей, истинной, универсальной. Эти внутренние процессы описываются в рамках критического метаязыка как «контрреволюция сверху». Более того, этот факт воспринимается как крушение стабильной геополитической модели политики, чреватое непредсказуемым развитием событий в будущем.

В этом смысле делается вывод о том, что современная постсоветская ситуация вовсе не является ни антисоветской контрреволюцией, ни капиталистической реставрацией, ни возвратом в точку отсчета 1913 г., ни выходом на «общечеловеческий» магистральный путь развития, осмысляемый в рамках транзитологии как единственно возможный. Любые аналогии неуместны, так как сложившаяся политическая ситуация уникальна и непредсказуема. Она «не предсказана» ни российским обществоведением, ни западной советологией, но ее суть может быть заключена только во всем историческом онтогенезе российского политического универсума.

С другой стороны, трансформация российского политического поля, безусловно, связана с мировыми политическими тенденциями новейшего времени, не может рассматриваться изолированно от них. Но адекватное постсоветской осмысление трансформации может быть связано только с его уникальностью и отличиями аутентичного политического поля, но никак не с попытками переноса и адаптации «вчерашних» либо заимствованием «иноцивилизационных» политологических метаязыков, перемещаемых на по-

литическую ситуацию, которая не вписывается в предлагаемые этими метаязыками парадигмы. Даже если происходит заимствование парадигмы, например, геополитического «консервативного революционаризма» А. Дугина, она должна быть отрефлексирована и «переварена», с тем чтобы приобрести культурно-критическую дискурсивность и аутентичность отечественному политическому полю, прежде чем включать ее содержание в арсенал российской политической теории.

В современном мировом контексте России критическим метаязыком приписывается следующая дилемма. Либо она, стремясь стать частью Запада, «цивилизованного мирового сообщества», станет его сырьевым придатком, т.е. объектом политической, экономической, культурной глобализации, либо Россия сможет стать в авангарде антиглобализма, стран и цивилизаций потенциально образующих противовес «золотому миллиарду» как единственному сегодня реальному субъекту глобальной, мировой политики. Роль глобального полюса силы, организатора субъектов Труда против интересов Капитала в свое время успешно сыграл СССР, добившийся значительных успехов: деколонизации, геополитической стабильности, «социализации» мировой экономики, в том числе и в странах самого Запада. Третий возможный вариант – автаркия, изоляционизм, опора на собственные силы и сосредоточение на внутренних проблемах – является самым маловероятным вариантом.

Иными словами, кризис и критика неаутентичного (иноцивилизационного) транзитологического метаязыка описания состоит лишь в том, что он неспособен допустить, что реализация «правильной» теории (парадигмы), например, либертаристских экономических реформ или попытка создания гражданского общества, дающая патологический результат, объясняется не неким несовершенством этой реальности, а наоборот, нерелевантностью в данном контексте самой парадигмы теоретического метаязыка, на котором пытаются ее выразить. Поэтому объяснение провала «реформ», формального характера демократии, рынка, гражданского сознания и т.п. через некую присущую России патологию: рабство русской души, тоталитаризм общины, неразвитость правового сознания,

тоску по сильной руке, русскую лень, русский климат – является либо просто интеллектуальной формой мазохизма, либо попыткой онтологического оправдания универсальной теории модернизации, наткнувшейся на уникальность российской цивилизационной реальности, что фактически тождественно саморазоблачению, признанию теоретической несостоятельности.

Опора критического метаязыка на политическую онтологию заключается в том, что ложность теории, подтвержденная политическим праксисом, означает лишь, что схоластически «правильная» теория – неправильна, неэффективна, неадекватна и что у «правильной» теории есть неведомые ей, но все же более истинные и адекватные альтернативы, в основании которых лежит сама социокультурная реальность, содержание и ценности аутентичной культурной среды, а не «правильная» идеологическая установка на их интерпретацию.

Анализ нынешней политической ситуации приводит критический метаязык к вполне закономерному выводу о том, что реформами, начиная с перестройки, в России был совершен не идеологический, это лишь прикрытие, т.е. миф, рационализированный транзитологией, а именно цивилизационный переворот. Причем реформы являются свидетельством проигрыша в противостоянии цивилизационно-глобального уровня, более высокого, чем национально-идеологическое, т.е. внутривосточное противоречие, причем начиная с самого возникновения СССР. Поэтому в результате фундаментальных политических реформ произошла не смена идеологий, а смена базовых символов, «базового мифа» общества, выход в постидеологическое глобальное пространство. Оказалось, что идеологии были лишь исторической структурой, но не сутью борьбы, связанной с цивилизационным противостоянием равновеликих альтернативных вариантов современности.

Политические причины поражения СССР связываются в критическом метаязыке с тем, что в глобальном плане СССР остался идеологическим государством. В рамках реализованных в нем в критической форме ценностей Просвещения и Модерна он не смог освоить ситуацию и состояние пост-Модерна. Поэтому не ресурсная, не военная и не экономическая, но манипулятивная победа За-

пада в «холодной войне» над СССР является, по сути, победой симуляции над реальностью ценностей Просвещения. Поэтому разрушение СССР можно оценить как первую революцию нового типа – революцию символического порядка, весьма опосредованно связанную с состоянием политических референтов, «политического реального».

«Нарушения разрушают границы; они уничтожают оппозиции или переворачивают их. Но недостаточно просто перевернуть оппозиции, нужно еще показать, что это легитимно. Иначе говоря, символическая революция может лишь тогда быть успешной, когда ей удастся установить и навязать другой принцип легитимного конструирования... Удачные символические революции разрушают *potos* – фундаментальный закон универсума, чтобы установить то, что Дюркгейм называет *anomie*, т.е. возможность для каждого устанавливать свой *potos*»¹. Иными словами, триумф Запада связан именно с тем, что Запад изменил правила игры, политического противостояния, совершив символическую революцию. Спор, который велся вокруг Модерна и Просвещения и был ограничен рамками этих проектов, Запад превратил в спор между Модерном и пост-Модерном, т.е. легитимировал для себя игру без правил, в то время как противник остался верен старым правилам, ценностям и целям в их «альтернативном варианте».

Если попытаться сконструировать алгоритм символической революции, то можно выделить следующие необходимые ее этапы.

1. Первый этап связан с релятивизацией базовых символов культурного ядра, скрепляющего общество. Терминология основного понятия здесь размыта и может быть весьма различной: базовый миф общества, цивилизационная парадигма, эпистема, идеология, символическая матрица и т.п.

Первоначально смысл базовых символов остается неизменным. Манипуляция заключается в смешении в общественном сознании структурных координат, организующих последовательное по-

¹ *Бурдые П.* Университетская докса и творчество: против схоластических делений // Socio-Logos. М.: Socio-Logos. 1996. С. 22.

литическое мышление. Это может быть фрагментация, обытовление, мифогенез, смешение принципиального и второстепенного, всеобщего и частного, героизация, механизм моды, рост значимости повестки дня, т.е. «здесь и сейчас», изменение структуры потребностей, соблазн, психологическая фрустрация. Все это приводит к расслоению, гетерогенизации, центробежным тенденциям в обществе. Корпоративность побеждает национальную солидарность, затем групповые интересы, в свою очередь, побеждаются интересами частными. Суммарный рост и обострение общественных противоречий (экономических, национальных, социальных) представляет накопление потенциальной социальной энергии, которая может быть сфокусирована в один большой взрыв.

2. На втором этапе подвергаются сомнению принципиальные идеи, призванные скреплять фундамент общества. То есть идейное ядро и ключевые символы общества теряют легитимирующий статус *potos-a* для новой социокультурной реальности. Общество оказывается в состоянии распада прежней структуры социальности, состоянии аномии. Базовые понятия лишаются статуса идейной реальности, реальности «второго порядка», организующей реальность политического действия. Эти понятия оскулачиваются, превращаются всего лишь в метафоры, лозунги, политические мифы, не отсылающие к политическому реальному.

Здесь же происходит вытеснение в массовом сознании интегрирующих политических символов базового ядра текучкой дня, как исключение из сознания эталонов, определяющих соразмерность масштабов событий и процессов, на основании которых выводится их оценка, значимость. То есть большинство населения теряет структурированный в голове ценностный контекст, систему координат, которая очерчивает, пусть даже смутно и неосознанно, целостную принципиальную устойчивую идеологическую схему, через которую пропускаются все факты, события, процессы.

3. Когда массовое сознание полностью сведено к актуальному, редуцировано рамками негативной в отношении исторической действительности повестки дня, становится возможным разрушение ключевых смыслов и ценностей. К примеру – «советской цивилизации».

Сначала они релятивизируются, потом разрушаются в частном и второстепенном, потом профанируются как сам принцип, стоящий за отдельными явлениями. Как правило, первые два этапа проходят скрытно и неявно. Третий этап в уже подготовленном массовом сознании воспринимается как неожиданность, откровение, а его поражающая столбняком эффективность является прямой функцией первых двух этапов. Одновременно с переинтерпретацией смыслов базовых символов идет подкоп под авторитет духовных инстанций, скрепляющих цивилизационную парадигму общества: армия, партия, школа, наука, литература, официальная история. Это выражается, например, в конфликте архетипов и актуальных «ситуативных» стереотипов, когда смешиваются и подменяются различные уровни восприятия и ценностей.

В качестве актуального примера можно привести фундаментальное противоречие этической доминанты политической культуры традиционного общества: взаимопомощь, коллективизм-общинность, солидарность, равенство – и противопоставляемых ей масс-медийных ситуационных стереотипов «протестантской этики», адресованных индивиду: модель конкурентной борьбы и выживания за счет других, завышенная самооценка, эгоцентризм, потребительский нарциссизм, денежная материализация ценностей – «оценивание» и т.п. Всеобщая этика, построенная на самоограничении, критикуется как тоталитарная, мешающая индивиду реализовать свои потребности в пользу модели «резинового тоталитаризма» – тоталитаризма потребительского общества.

Следует отметить, что только в ситуации манипуляционного отчуждения масс (большинства) от ключевых символов возможно уничтожение этих символов. В противном случае нападки на символы воспринимаются как оскорбление самого здравого смысла, попытка дискредитации святых, сакральных истин¹.

¹ В качестве актуального примера можно привести символическую революцию, разрушившую СССР. Перестройка и гласность как раз являлись теми низкоинтенсивными «фоновыми» технологиями, которые символически деформировали советский базовый миф и соответствующий ему

4. После смены контекста на место прежних очерченных символов встают и легитимируются новые. То, что вчера было очевидным абсурдом, стало абсурдной очевидностью. Но смена контекста, в который встраивается структура обыденного опыта, ведет к смене описательного метаязыка. Субъекту, видящему противоречия действительности и новой знаковой системы, ее отражающей, трудно высказать свои сомнения, поскольку нет молчаливого согласия, скрепляющего прежнюю (альтернативную) систему смыслов. Новая матрица смыслов навязывает свой язык, в котором прежний теоретический субъект либо самоотчуждается, принимая новый метаязык, либо замолкает.

5. Когда пантеон прежних символов разрушен, массовое сознание оказывается в новой, неожиданной культурной парадигме. Причем противники ее оказываются в подвешенном состоянии: они не в состоянии сменить культурно-символический контекст «нового» здравого смысла, молчаливо легитимирующего утверждения противников. Высказывания, критичные к переструктурированному базовому идеологическому ядру, уже неэффективны в опровержении частных утверждений. Они должны теперь всегда становиться на принципиальную высоту, бросая вызов принципам новой матрицы ценностей в целом. Иными словами, изменить новый фундаментальный потос общества теперь способна только очередная фундаментальная символическая революция.

В период СССР доминирующий в нем альтернативный метаязык Модерна в сжатом виде претерпел следующую трансформацию:

А) Критика капитализма. Сакральность коммунистической идеи, утопический хилиазм большевиков, сплавивших в новый базовый миф общества исторические православно-общинные идеалы и этическую критику капитализма. Референтным языком «извечных чаяний» народа вместо православно-этического стал экономико-этический язык, как дискурс, описывающий Модерн уже не в традиционных, а в идеологических категориях: классы, эксплуатация, справедливость, борьба, капитал.

универсум ценностей. Они подготовили общество к делегитимации базового мифа советского общества и восприятию его негативной критики.

Б) Нарастание самокритики базового советского мифа: 1. Как возврат к основателям, как исправление второстепенных недостатков, пороков роста, «перегибов» в реализации всеильных доктрин и т.п. 2. Поворот всего цивилизационного пути развития, примат адаптации к «общечеловеческим» формам жизни. Евроцентризм. Преодоление доминанции экономико-этического языка марксизма, легитимирующего официальный политический дискурс. Осмысление советского как «патологического» с точки зрения панлогизма, т.е. единого по форме и содержанию пути развития человечества, представленного теорией глобализации.

Объяснение символического дефицита постперестройки вытекает в критическом метаязыке из констатации промежуточного политического состояния: советские символы дискредитированы, западные «универсальные» не приживаются. Поэтому нет ни целостной доминирующей системы символов, ни противостоящей ей альтернативы. Отсюда ностальгическая реконструкция властью советских символов как реконструкция единой легитимирующей культурной традиции. Ностальгическое восстановление символов прошлого вытесняет первоначальный этап радикальной деконструкции советского наследия, который не смог породить новой эффективной легитимирующей идеологемы.

Поэтому «советское» фигурирует сегодня как симулякр, искусственно воссоздаваемый символический мир. В то же время «советское» модно и востребовано лишь как материал для создания новых политических идей именно потому, что оно «мертво». То есть в массовом сознании возврат к «советской реальности» стал окончательно нереальным. Но именно подобная ситуация открывает советскую реальность для интеллектуальных политико-конструирующих игр в постсоветском пространстве, в качестве значимой опоры для легитимирующих властью идеологем. Поскольку надежда прорваться обратно в «золотой советский век», похоже, оставила даже самих коммунистов, вместо призыва к революции, взрыву несправедливого социально-политического порядка остается лишь предаваться ностальгии о золотом веке: «В 1996 г. прыжок в прошлое представлялся преждевременным. Оно было слишком близко, в одном шаге. Возвращение коммунистов было реально. Мифу о

«светлом прошлом» негде было развернуться. Однако в 1999 г. возвращение в СССР было уже невозможно... В обществе стал зреть запрос на **символический возврат** в СССР»¹.

В условиях делегитимации Просвещения и Модерна можно наблюдать, что критический метаязык вновь актуализируется российской политикой в деле восстановления эффективного универсума символов, поиска новых легитимирующих и интегрирующих идеологем. И эффективным основанием этих символов выступает история, политическая онтология как отправная точка осмысляющих ее теорий.

Интуитивно российская власть добивается эффективности и легитимности, следуя именно ряду противоречащих современности, но, тем не менее, эффективных традиционных культурных архетипов, содержащихся в латентном виде в этой современности. Например, концепт органического народа-государства противостоит здесь концепту вторичного гражданского общества, которое предполагает в качестве своего условия разбивку на индивидов-атомов и последующую сборку «идеологического трансформера» Модерна. Беспартийность Президента знаменует вполне сознательную пиаровскую установку на видимость целостности традиционного общества-семьи. И эта норма является приоритетной перед «раскольническими» идеологическими членениями органического общества на партии, классы, институты «гражданского общества».

С советских времен сохраняют силу оценки легитимности политиков не в юридических категориях выполнения/невыполнения «договора», но в этических категориях «верности-измены»: партии, рынку, общему делу, народу. Незрелость партий, правовых институтов «сутяжничества», вторичность публичных политических процедур, в контрасте с компенсаторной эффективностью «закулисных», непубличных, теневых способов решения политических проблем и достижения компромиссов, связаны с сохранением значимости символа единого общества, которому «служит» любая партия, даже если ее задачи реально противоречат интересам большинства.

¹ *Цуладзе А.* Цит соч. С. 37.

Более того, делегитимация политических мифов ельцинской эпохи, их нарастающее несоответствие действительности сопровождалось отсутствием у власти значимых легитимирующих идеологем в «капиталистическом настоящем». Собственно попытка практической реализации мифа или утопии, их отождествление с реальностью означает их демифологизацию, т.е. разрушение в качестве таковых. В этом смысле советский миф неуязвим в настоящем, поскольку принадлежит прошлому. Достаточно отметить, в качестве примера, лишь смену ключевого ельцинского либерального мифа о сверхценности демократии и свободы путинской реконструкцией политической риторики и символики, связанной с мифом о справедливом (т.е., фактически, социалистическом) государстве. Причем в последнем случае советская риторика, понятная большинству населения, никак не коррелирует с реальным либеральным политико-экономическим императивом, образуя для него лишь алиби, прикрытие.

Отсутствие аутентичной политической макротеории (советская – дискредитирована, западная – отчуждается), порождает в обществе тяжелое состояние всеобщей фрустрации, разрыва мыслимого и видимого, нормативного и реального. Прагматический политический императив и постановка технических целей: удвоить ВВП, усилить экономический рост, поднять зарплаты, снизить налоги, является на поверку ситуативным, а ситуация, возникающая в результате, оказывается «политикой **отложенного стратегического выбора**. Но рано или поздно выбор делать все же придется»¹.

Интенция критического метаязыка связана с тем, что выработать новый базовый политический миф и адекватный ему ценностный метаязык общества можно только исходя из рефлексии над собственной цивилизационной матрицей. И главными структурирующими категориями в этой матрице, по мнению носителей цивилизационно-критического метаязыка, должны быть все же не соразмерные и приоритетные для индивида либеральные понятия права, свободы, рынка, собственности, конкуренции, но скорее превосходящие человека в его субъективном жизненном мире, вы-

¹ *Цуладзе А.* Цит соч. С. 347.

водящие за границы частного, традиционные холистские смыслы справедливости, долга, служения, солидарности, ответственности, государства. Только в таком случае в постперестроечном «человеке массы» может воскреснуть политический субъект. Однако манипулятивная форма постидеологической символической политики предполагает свертывание в человеке субъектности, внутреннего пространства свободы как источника непредсказуемости и неподконтрольности.

Для критического метаязыка символы, организующие российский политический Космос, все еще носят печать целостности разрушающегося общества «традиционного Модерна». Однако выводы критического метаязыка пессимистичны в том, что ценностно-культурные ограничители не отменяют главной политической тенденции – закрепления России в будущем как расколотого общества. При этом радикальность делегитимации российской политической власти отчасти смягчена «имплозией масс» и стремлением власти придерживаться традиционной архетипики в идейном пространстве еще полусоветской политической культуры российского общества. Однако разрушение традиционного политического пространства, символически оформленного как Космос, не приводит автоматически к согласию общества относительно универсальных или национальных ценностей, которые формально «озвучиваются» в виртуальном пространстве масс-медиа, но содержательно обществом (культурой) не воспринимаются.

Например, национально-государственные интересы, всегда совпадающие с интересами правящего класса, могут противоречить общественным интересам большинства населения. Отсюда проблематичность построения «общепримирающей национальной идеологии» без предварительного социального выравнивания, гомогенизации государственных, классовых и общественных политических дискурсов, с тем чтобы найти точки соприкосновения и хотя бы понимать политический язык друг друга.

В настоящее же время негативные процессы постперестройки очевидны: закрытие элит; ориентация социальных институтов на воспроизводство классового общества (школа, партии, армия, университет); переход от общенародной культуры к мозаично-

сегментированной – деление на массовость-элитарность; православно-коммунистический архетип коллективного спасения души, спасения «всем миром», все более уступает экспансии экономикоцентричных моделей личного успеха, предопределенности и избранности, оправдывающих, в свою очередь, ценностный приоритет конкурентных моделей человека над солидарными; превращение «служащих работников» (народу, государству, идее) в «обслуживающих специалистов» и т.п. В рамках цивилизационно-критической парадигмы считается, что экстремальное либертарианское видение мира российской элитой, где государство воспринимается только как полицейский гарант частной собственности, ограничитель свободы, и враждебный судья в жестокой конкурентной борьбе за материальные блага, совершенно оторвано от традиционной политической матрицы, где главные ценности – справедливость и равенство, а государство – инструмент их обеспечения.

Кроме того, Россия в ментальном плане все более раскалывается на «внутренний Запад», политический дискурс которого преобладает в крупных городах, и «внутренний Восток», включающий практически всю российскую глубинку¹. Причем пространственно-топологический раскол дополняется аналогичным расколом по социальной вертикали общества, на духовно европеизированную, глобализированную элиту с ее модернизационно-тавтологическим метаязыком и традиционное по своим политическим ценностям население.

Раскол проходит и внутри политических наук. Фрагментация гомогенного политического ценностного пространства, довольно однородной культуры советского периода приводит к уже начавшемуся воспроизводству расколотости как различных моделей габитусов (инкорпорированных социальностей) у разных социальных групп². Более того, антагонизм и несовместимость этих моделей

¹ Ачкасов В.А. Россия как разрушающееся традиционное общество // ПОЛИС. 2001. № 3. С. 84.

² Габитус – понятие, призванное разрешить методологическое противоречие холизма/индивидуализма, объективной структуры общества/субъективности действующего в политическом поле агента. Габитус рассматри-

дополняется герметизацией новых социальных групп, составляющих российское общество. Это приводит к сужению видимого и понимаемого человеком социального пространства, потере самой способности воспроизвести и адекватно понять видение социального мира представителей иного социального слоя, иной социальной группы. Альтернативные политические дискурсы, имеющие место в обществе, уже неподвластны пониманию доминирующего габитуса закрытой элиты (субъект власти) и часто вообще выпадают из поля зрения власти. Тавтологический дискурс власти замкнут и самодостаточен. Она не озабочена интеграцией альтернативных стратегий поведения различных частей общества, так как у этих групп на данный момент нет реальных механизмов влияния на власть.

Иными словами, человек в нетрадиционном обществе инкорпорирует не социальность и моральность всего традиционного общества, но лишь той части, к которой принадлежит. Отсюда происходят неприятные и неожиданные эффекты «незнания общества, в котором живем», и эффект гипостазирования, т.е. отождествления и переноса частных умозрительных конструкций на политическую реальность всего общества, при незнании последнего. Расхождение коммуникативных кодов знания (истины) внутри социально неоднородного политологического сообщества также усиливается.

Более того, указывается, что подобный раскол внутреннего политического поля вовсе не «нормален», не свойственен социально и экономически относительно гомогенному современному Западу, которому ее пытаются приписать транзитологический метаязык: «Советская система распределения благ была очень близка по духу системе распределения в западном мире. Вот почему всякое отступление от нее в сторону отказа от “социальных гарантий” есть отступление не от советского социализма, а от современного западного общества. Это не движение вперед, а откат назад... Эта проблема, как считают наблюдатели, явилась одной

вается П. Бурдье как инкорпорированная агентом социальность, «индивидуация социальности» или же «социализация индивидуальности», осуществляемая в ходе политической практики.

из главных причин прихода к власти партий левой ориентации в 13 из 15 европейских стран»¹. Одновременно в России: «Число тех, кто предпочитают социализм капитализму (несмотря на официальную пропаганду), около 50% [ВЦИОМ]. Только одна треть предпочитает западную модель»². Более того, «Проблемы социальной справедливости, защиты обездоленных, всегда столь важные для российского политического дискурса и ставшие центром полемики – “либералов” и “коммунитариев” на Западе, практически не обсуждаются ни научным сообществом, ни российскими масс-медиа»³. Таким образом, доминирующий энкратический метаязык оказывается для значительной части населения просто непонятным, они из него выключены, а промежуточные инстанции объяснения отсутствуют. И это непонимание власти и основной части общества взаимно, будучи выражено в десоциализации первой и маргинализации второй.

В условиях дискредитации и делегитимации модернизационного метаязыка, опиравшегося на концепт «реформ», закономерен, с одной стороны, рост «символического капитала» и релевантности критического метаязыка по отношению к российской политической действительности, с другой – рост интереса власти к тому, чтобы дискурсом этого метаязыка овладеть.

Проблема в том, что условием эффективности, устойчивости и легитимности существующего политического строя, вне зависимости от его идеологических самоописаний: демократия-тоталитаризм, республика-монархия, современность-традиционность, является субъективное содержательное соответствие наличных политических форм и институтов – ценностям и интересам большинства населения, т.е. общества в целом. Критический метаязык политической науки, будучи акратическим, смог уловить и объяснить фундаментальные расхождения цивилизационных ценностей россий-

¹ Шляпентох В.Э. Равенство и справедливость в России и США // URL <http://www.lebed.com>.

² Шляпентох В.Э. Многоукладная Россия: перспективы для анализа // URL <http://www.lebed.com>. Лебедь, № 35 от 27.09.97 г.

³ Ачкасов В.А. Россия как разрушающееся традиционное общество. С. 86.

ского политического универсума и содержания формируемой «сверху» политической системы.

Иными словами, создается «ложный круг»: ситуацию отсутствия критики, сопротивления и активности масс невозможно объяснить в рамках классических политических теорий иначе как феноменом «имплозии масс», а также тем, что формальная политическая система с ее институтами, законами и ценностями не имеет значимого содержания и просто субъективно игнорируется в массовом сознании как некий весьма второстепенный и незначительный фактор воздействия на реальную жизнь. То есть уровень влияния формальной политической системы на условия жизни в массовом сознании оценивается как весьма незначительный. С другой стороны, отсутствие социального взрыва интерпретируется властной элитой как молчаливое согласие масс с проведенными реформами и текущим политическим курсом.

Диагноз критического метаязыка в отношении нынешней России заключается в том, что она попала в ситуацию «межвременья», когда из традиционной идеалтипической культурной модели политики вынут скрепляющий стержень ценностей «базового мифа» общества, когда «порвалась связь времен», поэтому весь историко-политический контекст сузился до «тирании настоящего времени». Господство в политическом пространстве тавтологического метаязыка власти с его дискурсом повседневности, текущей повестки дня: отдать долги, сверстать бюджет, проиндексировать зарплату, стипендии, пенсии, – лишило политическую реальность утопического элемента, необходимо для ее развития. Критический метаязык пытается эту утопическую функцию восполнить, ставя для России стратегические сверхзадачи, связанные с ее историческим предназначением (православие, панславянство, восстановление империи и т.п.).

Как отмечал еще в 1990 г. социолог В. Шляпентох, «...современное советское общество – общество, абсолютно лишенное мифов... Для общества этот период всеобщей фрустрации очень тяжел»¹. Еще в советское время произошла профанизация

¹ Карцева Н. Общество, лишенное мифов // СОЦИС. 1991. № 1. С. 157.

базового идеального мифа общества. Вместо глобального построения коммунизма было предложено, например, «догнать Запад», «внедрить демократические процедуры», устроить «разделение властей и многопартийность», «внедрить хозрасчет» и т.п. Дело тут вовсе не в осуществимости проекта. Проблема в редуцировании, сведении символического к профанному, когда проблема выбора пути подменяется проблемой выбора транспорта или желаемой остановки. До сих пор нового мифа на месте советского не возникло, а используемые властью постсоветские мифы явно или скрыто входят в противоречие с культурной матрицей «советской цивилизации».

Проблема в том, что властного субъекта устраивает сложившаяся политическая ситуация. Он заинтересован в ее стабилизации, в условиях отсутствия достойных противников внутри политического поля. Ни народ, ни «молчащие массы», ни институты гражданского общества, ни рабочий класс (трудящиеся) не проявляют никаких признаков субъектности и политической активности в борьбе за свои интересы, ценности, права. Скорее, наоборот, произошло разрушение субъектности и влияния масс, низов, народа. Реальная политическая культура трансформируется из культуры подчинения в культуру «наблюдателей» с разрывами прежних механизмов включения в политику и постепенным угасанием субъективного интереса «электората» к политическому действию. Самоописание масс становится самоописанием объекта, но с потерей веры в патернализм, обмениваемого ранее на идеологическую верность политическому субъекту.

Кроме того, состояние «политической аномии» для индивида может стать естественным и необратимым. Поэтому никакие потрясения и катастрофы уже не способны вернуть его обратно (ресоциализация, реидеологизация) в общество, в качестве политического субъекта. Гуманистическая политическая мораль дает фундамент для легитимации подобной позиции. Признавая в качестве главной и неотъемлемой ценности человека его жизнь, общество не имеет права предъявить каких-либо других, превосходящих жизнь ценностей и убедительных доводов, в соответствии с которыми человек «должен» подвергнуть свою жизнь смертельной угрозе во

имя неких надындивидуальных ценностей: Родина, государство, социальная справедливость, политические свободы и т.д., так как они для него второстепенны в сравнении с собственной жизнью. Однако нельзя не заметить, что политика возможна только когда человек выходит из сферы частного в сферу всеобщего интереса, ключевым организационным институтом которого является все же не гражданское общество, представляющее механическую сумму совокупного частного интереса, а государство, приводящее общество в «политическое состояние».

«Смерть политического» в идеологической модели политики реализуется как отсутствие политически значимых субъектов «вне власти», помимо самого субъекта власти, как общее падение массовой субъектности снизу, неучастие в публичной политике. Здесь и возникает конец «классического политического состояния» как идеологической политики. Вырисовывается новая политическая ситуация, суть которой состоит в симуляции, «последствия» ценностей, институтов, теоретических представлений классического Модерна: ситуация и состояние пост-Модерна.

Символический метаязык: парадигма глобализации

Если Постмодернизм представляет симуляцию, «последствие» ценностей Модерна, то глобальный политико-экономический порядок связан с концепцией неолиберализма, когда политические ценности Просвещения и Модерна не критикуются и переосмысляются, но прямо отрицаются.

Аксиома символического метаязыка заключается в том, что социальная реальность актуального Постмодерна больше не может быть адекватно отражена на традиционном языке «больших идеологий» и утопий. Как тавтология, так и парадокс начинают бить мимо цели и во все меньшей степени соотноситься с чем-то политически реальным, вроде классов или других политических субъектов.

Отличие парадигмы глобализации от критической теории цивилизации в том, что она наносит удар по национальному как форме реализации универсального ценностного порядка Просвещения, т.е. звену, которое сплавивает все более расходящиеся в современ-

ности политические уровни глобального и локального. Она связана с делегитимацией нации-государства, которое теряет политический суверенитет (теория ограниченного суверенитета) и превосходится в ходе транснационализации политики, регулируемой международной интеграции. Отсюда логически следует отрицание значимости национально-государственной специфики, нейтрализация нации-государства как основного участника политического процесса. Вследствие этого происходит провисание всей структуры современной политической системы, сложившейся в условиях Модерна. Теория глобализации, направленная на поиск рецептов для человечества в целом, странным образом приводит к унификации не только политических ценностей, но и способов их реализации во всемирном масштабе. Глобализм, направленный на предельно универсальное измерение политического, оказывается по своим результатам парадоксально локализирующим.

Глобализация в связке человек – нация – человечество, соответствующей связке этнос-государство – глобальность (транснациональное, трансидеологическое), выбивает среднюю ступень политической организации нация-государство, на котором строился универсализм Просвещения и Модерна. В результате вместе с интеграцией на основе «общечеловеческих» транснациональных ценностей и институтов происходит разрушение политического суверенитета и субъектности наций-государств как изнутри, так и снаружи, что часто ведет к падению уровня политической самоидентификации индивидов к догосударственному и донациональному (этническому). Глобализация оборачивается архаизацией, разрушением просвещенческого проекта через различные версии пост-Модерна. Метаязык глобализма упраздняет фундаментальный для Просвещения концепт демократии с ее легитимацией политической власти народами. Метаязык глобализации связан с сознательным разрушением легитимности исторической эпистемы Просвещения, ее делегитимацией через различные концепции «конца истории», постструктурализма, деконструкции и языковых игр. Под знаком кризиса производится деконструкция идеологий, наций, государств в пользу транснационализма, своего рода «глобального корпоративного неофеодализма».

Следует оговориться, что, на самом деле, реальная значимость теорий Постмодерна в контексте глобализации связана лишь со вспомогательной, легитимирующей функцией идеологии экономикоцентричного неолиберализма¹. Постмодерн лишь легитимирует, вольно или невольно, культурную ситуацию неолиберализма.

Логика глобализма основана на привилегированной референции политического экономикоцентризма, псевдоуниверсальной логике чистого Капитала, представляя собой своего рода «глобальную Реформацию» с господством меновой стоимости, которую не сдерживают уже никакие этические, исторические, культурные ограничения и различия. Политика подчиняется меж- и транснациональным экономическим структурам, противопоставляющим себя государству. Эти структуры претендуют на роль ключевых субъектов мировой политики, подчиняя своим стратегиям целые государства и регионы. Политические ценности всегда функциональны, т.е. подчинены интересам доминирующего политического субъекта. В процессе глобализации политики можно наблюдать смену стержня национально-государственного интереса ценностями полностью дегуманизированной чистой логики прибыли, капитала, конкуренции, – особенно явную в странах, не входящих в «золотой миллиард».

Необходимо различать глобализацию и интернационализацию, поскольку эти понятия не синонимичны, но взаимоисключаемы. Процесс интернационализации связан с активно расширяющимся, начиная с XX в., взаимодействием наций-государств на международной политической арене, межгосударственной экономической интеграцией. В качестве политического субъекта здесь выступают нации-государства. Глобализация, наоборот, подчеркивает, что в современных условиях нации-государства не являются единственными значимыми политическими субъектами мировой политики². Появляются новые значимые политические акторы, которые действуют не только помимо, но и осознанно вопреки интересам сложившихся наций-государств.

¹ См. подр. критику концепции неолиберализма: *Хомский Н.* Прибыль на людях. Неолиберализм и мировой порядок. М.: Праксис, 2002.

² См. подр.: *Арин О.А.* Мир без России. М.: ЭКСМО, 2002. С. 288-346.

Глобализация, в отличие от относительно объективных процессов экономической интернационализации, когда потоки капитала и людей, технологические цепочки выходят за пределы национальных границ, носит субъективный, управляемый характер. Единственным субъектом глобализации в мировом масштабе выступает постиндустриальный «золотой миллиард», действующий через доминирование в международных организациях (МВФ, ВТО, ООН, МБРР и др.), МНК и ТНК. Остальной мир участвует в процессах глобализации лишь в качестве объекта глобализации, т.е. обыкновенной эксплуатации, будь то эксплуатация Труда в индустриальных экономиках «второго мира» или помноженная на сырьевую эксплуатацию ресурсов стран «третьего мира». Глобализированные экономические, религиозные, космополитические элиты уже не соотносят себя с теми или иными конкретными нациями-государствами, не нуждаются в своей легитимации волеизъявлением местного населения.

Кроме того, политическая глобализация обнаружила, что в мировом контексте столь удачное и естественное для Запада слияние нации и государства оказывается вовсе не универсальным и не естественным. Исторический характер этого тождества проблематизирует дальнейшую судьбу нации-государства как доминирующей политической формы общества, основного субъекта международной политики.

Разрушение государств и наций связано с антропологической акцентуацией политических ценностей на абстрактном индивиде, одновременно с игнорированием любых исторических, национальных, социальных, экономических и прочих культурных сред, в которых реально находится человек, которые детерминируют его поведение. Глобализация формализует политику, устраняя все уникальные политические инстанции, в своем стремлении очистить человека от любых культурных сред, в которых он находится. Отличия людей и их групп, выходящие за пределы этой логики «глобальной Реформации», осмысляются как свидетельство неполноценности и неразвитости, которые необходимо преодолеть. Метаязык глобализации представляет собой метаязык теории модернизации, доведенный до своего предельного, глобального уровня: автономизированный от

политической ситуации Запада, отрекшийся от апологии наций-государств и классической эпистемы Просвещения и Модерна.

Метаязык глобализма символичен в том смысле, что в нем всегда есть некая двойственность, множественность смысла двойного, «расслаивающегося» метаязыка. Многофакторность процессов глобализации/локализации, которые легко инвертируются в свою противоположность, с точки зрения того, какие составляющие этих процессов считать более значимыми, прежде всего упраздняет любое универсальное пространство ценностей и соответствующую ему модель политического метаязыка. Речь в данном случае должна идти именно о состоянии полилога, многоголосия метаязыков политических субъектов (этносов, государств, цивилизаций, классов, религий), каждый из которых открывает свою истину глобализации. В связи с этим необходимость встраивания уже существующих политологических метаязыков в глобальный контекст ведет к их кризису. Прежние критико-идеологические метаязыки политики, претендующие на универсальное, вынуждены быть релевантными уже на местном-национальном-цивилизационном-глобальном уровнях, что приводит к их внутренним противоречиям и ретроспективной переоценке своей эффективности на тех уровнях политического, где ранее они были значимы и релевантны. Иными словами, нивелирующая в пользу глобального единообразия все противоречия более низкого политического уровня парадигма глобализации разрушает прежде всего уже сложившиеся политологические метаязыки: тавтологический (модернизационная парадигма) и критический (цивилизационная парадигма).

В глобальной парадигме наиболее эффективной становится мифологическая структура политологического метаязыка, нечувствительного к собственным противоречиям и критике, обладающего внутренними резервами множественности смысла, способностью к инвертации значений и понятий, в зависимости от уровня интерпретации, адресата и т.д. Мифологический метаязык негативен в том смысле, что отрицает как универсальную ценность Просвещения (трансидеологичность), так и ценность критики (нечувствительность к критике).

Глобалистский метаязык политической науки начинает активно осуществлять захват символа как техники, позволяющей ему эффективно функционировать в постиндустриальной, информационной среде политики. Причины популярности парадигмы глобализации довольно очевидны. Критический метаязык, открывший оборотную сторону тавтологических политических понятий, легитимировал символическую стратегию власти, которая, в свою очередь, деидеологизировала в дальнейшем ситуацию мышления в постсовременной политике.

Постидеологическое состояние политики связано с выносом в центр политического дискурса концепций особенного и различий, затушевываемых ранее в интересах универсальности доминировавшего дискурса идеологии. Постмодерн вывел на первый план разного рода и генезиса противоречия, а также общности-субъекты, оформляющиеся на этих основаниях. В то же время идеологические границы, оформлявшие политическое пространство во времена холодной войны, отходят на второй план, становятся неактуальными. Идеологическая составляющая начинает носить скорее маргинально-вспомогательный, нежели определяющий характер. Глобализация власти в современном мире, соответственно, вызвала и глобализацию критики власти. Основания этой критики уже не связаны с политической ситуацией на Западе и носят многосоставный характер, их объединение происходит, прежде всего, через сам объект критики, а не в силу сходств оснований для нее.

Причем метафора глобализирующихся политик, экономик, культур, обществ связана сегодня уже не с властной пирамидальной вертикалью, но с популярной в научной литературе топологией горизонтальных сетей: экономических, политических, информационных, охватывающих весь мир целиком. «Развитие глобальных сетей приводит к ситуации, когда власть структуры становится сильнее структуры самой власти, т.е. социальная морфология доминирует над социальным действием»¹.

¹ *Мясникова Л.А.* Экономика постмодерна и отношения собственности // Вопросы философии. 2002. № 7. С. 10.

Конфликт глобалистов и антиглобалистов, по сути, есть конфликт транзитологического метаязыка либерализма, взятого в своем предельном глобальном масштабе, и символического по отношению к ней мировоззрения, где национальные, культурные, географические отличия национальных экономик обуславливают невозможность объединения на нормативных истинах демократии, свободы и капитала. Если глобализм реализует ценности «универсального» для всех участников неолиберального экономического порядка, за которым стоят, прежде всего, интересы стран «золотого миллиарда» и транснациональные интересы ТНК, то антиглобалисты указывают на его неуниверсальность и особенность, через явное противоречие этическим, историческим, национальным, экономическим принципам укладов незападных экономик, где устранение особенностей этих укладов фактически означает крах основанных на них экономик и политик.

Можно отметить, что правота глобалистов/антиглобалистов относительно позитивных/негативных эффектов глобализации зависит от того, на ком («первый», «второй» «третий» миры; центр, полупериферия, периферия) иллюстрируются издержки/выгоды глобализации. Нетрудно заметить, что экономическая глобализация формирует мировое разделение Труда и Капитала, где страны Капитала получают сверхприбыль за счет людской и сырьевой эксплуатации под видом «свободной конкуренции» слабых стран Труда, не входящих в «ядро глобализационных процессов». Более того, конкуренция стран второго и третьего мира за потоки глобальных инвестиций истощает эти страны, лишает ресурсов для самостоятельного, национально ориентированного развития. Эти страны, не входящие в центр глобализационных процессов, открывая свои границы для свободных потоков капиталов, устраняясь от регулирования собственной экономики, оказываются зависимыми от центра, который, наоборот, находится вне конкуренции, регулируя мировую экономику с помощью протекционистских мер и различных асимметричных, недемократических международных организаций, устанавливающих для разных стран неравные условия вступления в торговые соглашения, неравные условия по кредитам. Речь идет о таких организациях, как ВТО, МВФ, МБРР и др.

Неолиберальный экономический порядок представляет собой повторение на новом витке колониального порядка. Ф. Бродель писал о том, что «Запад построил себя из материала колоний». Сегодня расширенный Запад – «золотой миллиард» – выстраивает глобальный экономический порядок за счет эксплуатации периферии, подавляющего большинства населения планеты. Надежды периферии «жить как в центре» тщетны, поскольку центр существует не сам по себе, а за счет подобной асимметричной структуры. И рассуждения постструктуралистов о том, что центр всегда за пределами, трансцендентен, в отношении легитимируемой им структуры, выглядят вполне актуальными, так же как и предложение не искать центр, а разрушать его, т.е. децентрировать структуру.

Структурировать очерченные в данном параграфе бинарные оппозиции энкратических/акратических политологических понятий, предназначенных для непосредственной интерпретации политики, можно в виде следующей таблицы 4.

§ 2. Конфликт метаязыков: возможна ли новая (синтетическая) модель метаязыка?

Таким образом, итоговый вывод состоит в том, что в отечественной политической науке предложенная нами актуальная структура метаязыков реализуется в содержательном плане в виде ряда парадигм, легко извлекаемых из корпуса политических/политологических текстов.

Ключевой для структуры тавтологического метаязыка является парадигма модернизации, с ее сверхценностью транзита от тоталитаризма к демократии и «цивилизованному обществу» путем проведения «реформ». Эта парадигма имеет явный «прогрессорский» подтекст, причем «золотой век» в ней не имеет характера утопии. Наоборот, он предельно приземлен и материализован топологически, как бы это ни скрывалось, в виде нормативной политической реальности Запада.

В целом проект Просвещения и тавтологическая модель метаязыка лежат в основе современной политической науки. Ее кризис в данном случае указывает на появление новой ситуации мыш-

Таблица 4

Политика	
«Левые»	«Правые»
Эксплуатируемые (масса)	Эксплуататоры (буржуазия, элита)
Неразделимость знания и власти	Автономия политического знания от власти, науки от политики
Трансценденция политики (сакрализация)	Имманентизация политики (профанизация)
Оппозиция	Власть
Труд	Капитал
План	Рынок
Государство	Гражданское общество
Национализация	Приватизация
Равенство	Свобода
Демократия	Либерализм
Этика (долг)	Право (закон)
Аксиологичность политических решений	Технологичность (телеологичность) политических решений
Справедливость	Эффективность
«Общее благо»	Утилитаризм, прибыль, выгода
Политика как «всеобщее дело», политический дилетантизм	Профессионализация политики
«Большинство всегда право» (прямая демократия)	«Решает избранное меньшинство» (ограниченная, элитарная, непрямая демократия)
«Vox populi»	Мнение экспертов
Классовые интересы первичны по отношению к национальным (общественным, государственным) интересам	Национальная «общепримиряющая» идеология выше классовых интересов
«Большая политика»	«Малая политика»
Социоцентризм. Автономия политики (государства) от экономики	Экономикоцентризм. Подчинение политики (государства) экономике
Политэкономия	«Экономикс»
Активная регулирующая, перераспределяющая роль государства (кейнсианство)	Пассивное государство на страже «естественных» законов социума и рынка (неолиберализм)

ления в политике, смену политического контекста, требующую обновления привычных теоретических аппаратов. Кризис означает утрату безусловного доминирования тавтологической модели метаязыка в современной политике, когда классическая позитивистская методология становится лишь «одной из возможных» в политической науке, но не единственно возможной. «Научность» оказывается достижимой в рамках различных языковых игр, помимо классических, с собственными автономными критериями релевантности.

Однако внутри тавтологической модели подобное положение действительно осмысляется как патологическое и исключительное,

поскольку тавтологический метаязык построен на утверждении единственно возможной объективной истины. Выявление субъективных, нормативных основ подобного стиля мышления, его связь с контекстом конкретной культурно-исторической ситуации и действующим в ней политическим субъектом, осмысливается в рамках этой модели как катастрофа, так как означает, следуя логике данной модели, превращение научного знания, основанного на автономии кода научной истины от политики, в знание идеологическое, обусловленное интересами значимых политических субъектов. В то же время для других моделей метаязыка политической науки ангажированность теоретического субъекта политической науки определенными политическими субъектами, культурно-исторической ситуацией политики, аксиологичностью политического знания является вполне нормальным состоянием. Актуальный субъективно-идеалистический характер Постмодернизма как раз и характеризуется признанием права на статус «научности» идей любых субъектов политической теории, так как они равновелики, а также констатацией отсутствия внутри любой политической теории критериев определения объективности, которые с равным правом можно было бы распространить на политическую науку вообще. Если политическая теория объективна, то это лишь внутренняя объективность, заданная согласием теоретиков внутри нее самой.

Структура парадоксально-критического метаязыка содержательно реализуется в рамках парадигмы цивилизации. Она имеет «реваншистский» характер» и связана с критикой доминирующего транзитологического дискурса. Ее утопический проект исходит из того, что «могло бы быть», т.е. апологетики «своего пути», будь то версия Альтернативного (традиционного) Модерна, которым был СССР, самодостаточная автаркия или геополитическое построение Евразийской цивилизации, Православной цивилизации или русского суперэтноса, которое является историческим предназначением, судьбой России. Наконец, нарративно-символическому метаязыку соответствует парадигма глобализации, ценностная аксиома которой связана с переходом к состоянию Постмодерна, в рамках которого меняется сама природа социальности и политики. Их эффективное конструирование в политической теории связывается с про-

цессами постиндустриализации, информатизации, транснационализации, виртуализации и политическими стратегиями, детерминированными электронными средствами масс-медиа, Интернетом и т.п., оформляющими своего рода электронное публичное пространство, которое, одновременно, и симулирует реальное политическое бытие, и превосходит политическую реальность. При этом политическая власть становится анонимной, обезличенной, десубъективированной, а линейность массовых коммуникаций, наоборот, сменяется их молекулярностью, адресностью и дифференциацией.

На наш взгляд, доминирующий модернизационный метаязык отечественной политической науки, связанный с «классической эпистемой», пришел в теоретико-практическую негодность еще тогда, когда он формулировался в рамках прогрессивистской парадигмы капитализм-социализм. Альтернативная ему модель «внешнего метаязыка» Запада, оперирующая латентно моралистическими категориями демократия-тоталитаризм, свобода-несвобода, традиционное-современное, аграрное-индустриальное и т.п., утратила релевантность одновременно со своим идеологическим антиподом.

Доминирование одного из перечисленных метаязыков вовсе не означает отсутствия в политическом дискурсе других. Сегодня они в полной мере представлены в отечественной политологии в рамках различных подходов и парадигм. Политологический метаязык может быть внешним (политическая теория) – посвященным речи о политическом как объекте, и внутренним метаязыком, предназначенным для медитации над сущностью и инструментарием самого субъекта исследования, построенной на «объективации объективирующего субъекта» (П. Бурдьё). Здесь мысль направлена, прежде всего, на условия как объективного, так и субъективного характера, детерминирующие размышления о политическом. Не только расположение внутри политического поля, но и мера саморефлексии исследователя определяют его фундаментальную склонность к определенному методу познания политического.

В транзитологическом метаязыке рефлексия обычно минимальна, исследования носят в основном эмпирико-прикладной характер, т.е. заключаются в: а) переводе теории среднего или макроуровня на «язык родных осин»; б) переносе и применении этой тео-

рии к «родной» социокультурной реальности; в) отборе фактов, когда результат наблюдения «обязан» подтвердить ее универсальную значимость.

Стратегия исследования направлена на заимствование универсальных политологических догм, накопленных «мировой» политической наукой. Прежде всего, речь идет о «технической» англосаксонской модели политологии, где при анализе политической реальности не ставятся под вопрос ценности, с помощью которых ведется этот анализ, так как это считается уже задачей политической философии¹. Считается, что истина, метод и инструментарий уже выработаны, политические ценности универсальны, задача состоит лишь в «усвоении» и «приложении».

С герменевтических позиций этот подход ведет как раз к разрушению уникальной социополитической реальности, к ее искажению чуждыми культурными фильтрами, а вовсе не к ее познанию. Упования тавтологического метаязыка на культурный синтез отрицаются как манипулятивная уловка, так как здесь отождествляются технологическая модернизация (универсум техники) с культурным слиянием. Но обмен и взаимное обогащение не означают слияния, так как в ценностях и заключена суть политических различий. Ценности иррациональны и не универсальны, они не сочетаются, тут господствует формальная логика «исключенного третьего». Поэтому критический метаязык выносит однозначный приговор: если отечественное политологическое сообщество без рефлексии перенимает политические ценности и политический метаязык Запада, то Россия исчезает как особая, способная к самоосмыслению цивилизация, в которой субъектом этого самоосмысления выступает собственная политическая наука.

Сегодня можно констатировать, что подавляющее число центров политической науки в России, особенно учебные центры, восприняли в качестве нормативной англосаксонскую модель политической науки, методологически описываемую нами как тавтологическая модель метаязыка политической науки. В этом смысле сего-

¹ См. подр.: *Казанцев А.А.* Политическая наука: проблема методологической рефлексии. С. 53-54.

дня внутри российского политологического сообщества разнятся скорее сложившиеся «моды», области и направления, специализация политических исследований, но не методология. Например, нельзя не отметить, что до недавнего времени дискурс большей части «фондовых» и «грантовых» работ был ориентирован на политическую транзитологию и жесткую идеологическую парадигму модернизации, бинарные пары: тоталитаризм-демократия, план-рынок, негражданское-гражданское и т.п., а также на модную «западную» гендерную, феминистскую, сетевую, глобализационную, постмодернистскую проблематику, почти не актуальную в условиях современной российской действительности.

Вообще методологическим проблемам политической науки посвящено весьма малое количество научных работ, притом что актуальность методологии растет и даже постепенно выходит на первый план в актуальной российской политологии. Вместе с тем следует отметить, что существует принципиальное и существенное различие англосаксонской и континентально-европейской методологических и даже мировоззренческих традиций политической науки. Этот антагонизм во многом соответствует описанному в нашем исследовании противостоянию тавтологической и парадоксальной моделей метаязыка политической науки, представленному двумя упомянутыми выше порождающими пространствами политической науки.

В целом ироническое размывание Постмодерном идеологических понятий Модерна до предельно широких, т.е. манипулятивных, значений указывает на тенденцию обесценивания и обесмысливания ценностей, которые они призваны выражать. Подобная рыхлость ценностей не могла не привести к нарастающему расслоению понятий и смыслов политического метаязыка глобализма на «внешний» и «внутренний»¹. Это расслоение структурно и содержательно вроде бы одного и того же метаязыка, одних и тех же посланий, в зависимости от адресата («свои» и «чужие»), проявляется в росте расхождений «плана содержания» и «плана выражения» политической речи, превалировании контекста над

¹ Панарин А.С. Искушение глобализмом. С. 11-16.

текстом, риторики над аналитикой, коннотации над денотацией, визуальности над текстуальностью. Внешний метаязык глобальной парадигмы основан на симуляции общепринятых ценностей Просвещения, внутренний описывает реальный смысл происходящего и не предназначен к массовому тиражированию. Наблюдение «внешними» адресатами нестыкровок внутреннего и внешнего планов политического метаязыка глобализма ведет к его десакрализации и делегитимации.

Язык, бывший, возможно, **последним трансцендентным политическим объектом эпохи Модерна**, в котором искали конечные политические истины и легитимности политических ценностей, институтов, практик и на который возлагал свои надежды весь 20 век: структурализм, постструктурализм, экзистенциализм, аналитическая философия, герменевтика, – возложенных надежд не оправдал, будучи в свою очередь дискредитирован и сведен к имманентному.

Однако, в то время как на Западе язык, вслед за Богом и человеком, уже умер, превратившись в средство коммуникации и инструмент властвования, в России (СССР) язык сохранял собственную сакральную сущность. Публичный политический язык еще не стал текстовой структурой, но принадлежал различным трансцендентальным субъектам, т.е. был субъектен сам по себе.

Политическое слово было властно в силу своей трансцендентности, в силу того, что тот, кто говорит, говорит не только от себя и не столько от себя, сколько служит посредником-медиатором между адресатом и словом от имени бога, класса, народа, крестьянства, аристократии. Идея, заключенная в слове, всегда субъективно превосходила того, кто ее выражает. Именно в этом заключен феномен властно-идеологического влияния русской литературы на общество, в то время как в Европе литература изначально возникла только как искусство и ремесло, как автономное интеллектуальное поле. Русско-советская литература была занята экзистенциальным поиском истины в едином поле всеобщей морали традиционного общества, поэтому она могла предписывать от имени этих универсальных моральных ценностей. Европейская литература уже только описывала внутренние миры героев-

субъектов, само пространство точек зрения, выводы же и оценки предоставлялись читателю.

Политическая речь имела в СССР колоссальное значение, так как свобода слова традиционно подразумевала «свободу быть услышанным», а публичная речь была властной сама по себе, вне зависимости от того, «кто» и «что» говорит, т.е. вне зависимости от того, кому принадлежит голос, так как говорящий был не субъектом своей речи, а именно медиатором в поле власти. В силу этого общество всегда было хорошо знакомо, как это ни парадоксально, со всеми как официальными, так и критическими дискурсами власти, а популярность марксистов или диссидентов действительно была шире именно во времена их запретов и подпольности (повальное увлечение Марксом в царской России или прослушиванием «Радио “Свобода”», чтением «самиздата» в СССР) и сразу гасла, как только они переходили на легальное и даже привилегированное положение.

В современной России ситуация стала быстро приходить в соответствие с ситуацией на Западе. В информационном обществе свобода слова означает всего лишь «свободу говорить», но вовсе не свободу быть услышанным. В условиях переизбытка информации слово в публичном политическом поле не имеет никаких гарантий быть услышанным, а даже будучи услышанным – быть воспринятым адресатом.

Власть над самим языком трансформировалась во власть над коммуникациями, т.е. власть связана не с «что говорится», не с самим языком, не с «кто говорит» (субъектом высказывания), а с тем, кто **имеет возможность сказать** публичное слово через масс-медиа, довести его до общественного сознания через повторение и умножение, лишит такой возможности оппонента. Иными словами, важно стало не слово само по себе, а опосредующие коммуникацию системы. В них язык утрачивает собственную субстанциональность, субъектность и символическую ценность, но становится лишь средством, плоским функциональным знаком, из которого складывается «информация к сведению». Политическая власть субстанционально сместилась, таким образом, из символически и ценностно нагруженного метаязыка политики в область секулярных от морали «некоммуникационных систем».

Место универсальной парадигмальной теории развития (модернизации), дающей привилегированную модель научного политологического метаязыка, сегодня постепенно занимает вытесняющая ее теория изменений, осмысляющая двойственный парадоксальный процесс глобализации/локализации – «глокализации». Если апология глобализации отсылает к универсальным политическим изменениям и процессам, то локализация, наоборот, предстает как осмысление происходящих на планете уникальных, особенных процессов. Метаязык теории изменений двойственен и парадоксален в своей установке на рассмотрение любого явления, тенденции, процесса в соответствии с принципом дополнительности. Теория изменений весьма осторожна в выписке универсальных рецептов. Эта теория консервативна и прагматична: не реализация политических идеалов, но осмысление традиции и происходящих в реальности изменений и складывающихся альтернатив диктуют выбор оценок, определенную интерпретацию политической картины.

Альтернативность описаний политических феноменов понимается при этом не как патология, связанная с отсутствием политического идеала или объективных данных, но как следствие нормальности самой противоречивости и символической многослойности политических объектов, когда исследователи фокусируют свое внимание на разных их аспектах и характеристиках, в зависимости от своего положения в политическом поле.

С другой стороны, любое, в особенности политическое, познание является ангажированным, опосредованным интересами исторических политических субъектов, их волей к конструированию своего видения политики и соответствующей ему системы действия. В этом смысле вульгарный постмодернизм, открывая социальную субъективность политической теории, вместе с тем отрицает научность и ценность любой теории вообще. Постмодернизм показывает тем самым, с одной стороны, что он не имеет воли к знанию-власти, не имеет за собой реального политического субъекта, а потому никогда не сможет стать доминирующим политическим метаязыком. Постмодернист не может встать на позицию творца реальности, теоретического субъекта. В силу отсутствия у него субъектности реальная

политика для него исчезает. Остается лишь реальность симулякра, невозможность объективной реальности, взамен которой постструктурализм никакой другой не принимает, причем вполне в традициях жесткого, отрицаемого им же позитивизма: «Откровенно универсалистские утверждения постмодернизма о коллапсе (или иллюзорности) универсалий и его грубо объективистские заявления о невозможности объективности (и исчезновении самих объектов) есть не просто воляпуки и оксюмороны, которые он может проигнорировать своей “иронической парадоксальностью”. Это – выражение неспособности постмодернизировать самого себя, т.е. осмыслить себя не в качестве новой универсальной истины, а как специфический контекстуальный продукт специфической ситуации, рассмотренной в чьей-то специфической перспективе»¹.

Иными словами, отсутствие реального, видимого политического субъекта постмодернистской теории носит воображаемый характер. Неважно, что думает на свой счет постмодернист, главное, «кому выгодно», чтобы так думали политические теоретики. Кому выгодно? Этот классический вопрос требует определения: а) «кто является субъектом» определенного действия, высказывания, ценностной аксиомы и т.д.; б) «пристегивания» значений, идей, лозунгов к той или иной реальности, определенному референту. У любой политической теории существует субъект, тот, кому она выгодна, в том числе и у постмодернистских, рассуждающих о «смерти субъекта», «автора» и «человека в целом». Например, субъектом постмодернистских политических теорий глобализации может быть только «золотой миллиард», глобализированная буржуазия. Она, по существу, и является единственным субъектом глобализации, тем, кому она выгодна.

Необходимо отметить, что все классифицирующие дихотомии, сама дихотомичность как классический, доминирующий способ мышления современности, связаны с Просвещением, порожденным социокультурной ситуацией Запада. Политические дихотомии, явные или скрытые, воспроизводящие некие отношения и

¹ Капустин Б.Г. Посткоммунизм как постсовременность: Российский вариант // ПОЛИС. 2001. № 5.

процессы политического поля, на самом деле, в явном или латентном виде, воспроизводят сопутствующие им отношения власти, отношения господства-подчинения, иерархии-асимметрии. И, наоборот, отношения социальных и политических групп, ценностей, интересов, их позиции в политическом пространстве имплицитно присутствуют в политических категориях и довольно легко вычлениаются в «костяке» того или иного политического метаязыка.

Символический метаязык производит акцент именно на несовместности и непереходности этих идеальных типов, что заостряется самой их взаимоисключающей постановкой и описанием этих несходств в виде бинарных пар. Здесь важно именно осмысление и заострение скрываемых обычно фундаментальных различий самих по себе, без их последующего «перехода», «снятия» или совмещения.

Теория модернизации, основанная на паре традиционное-современное, обычно старается обосновать привилегированность элементов современности, игнорируя их реальное содержание и эффективность в политической системе с позиций нормативного и должного. Соответственно, элементы традиционного, как «неправильного» и «не-нормального», описываются лишь сквозь идеологические фильтры политической современности а la Запад, как «проклятая сторона вещей».

Поэтому критический метаязык политической науки, чтобы выявить властный дискурс метаязыка теории модернизации, изымает бинарное деление из единого объективного идеологического пространства, где один член оппозиции (современное) оформляет свою привилегированность за счет другого (традиционное), и рассматривает его как два автономных независимых политических пространства, две самостоятельные **цивилизационные** альтернативы современности. И здесь начинают проступать латентные ценностные и институциональные различия, их значимость и важность как таковых в подобной дихотомии, поскольку жесткий выбор «или-или» как никакой другой высвечивает и заостряет именно различия, вне зависимости от их последующих снятий в духе модернизации, прогресса, бесклассовости, интеграции, интернационализации и глобализации.

Теория цивилизации является парадигмой критического метаязыка, с помощью которого возможно выявить идеологические коннотации и контексты, которые несет в себе, пусть зачастую и бессознательно, теория модернизации. В историческом аспекте теория цивилизации является не только самостоятельным политологическим метаязыком, но и метаязыком в отношении языка теорий модернизации. Часто она просто переворачивает бинарные коды модернизационного описания политики, отстаивая уникальные, аутентичные принципы «традиционного Модерна» России от «либерального Модерна» Запада.

В рамках цивилизационной парадигмы считается, что условием возникновения метаязыка современной политической науки с ее категориями выбора, свободы, гражданского общества, личных прав и свобод выступает разрушение незыблемой культурной традиции, ответственности всеобщей этики как метарегулятора отношений власти и общества. Это условие – необходимость объективировать, зафиксировать и написать прежде негласные и самоочевидные политические правила общежития в форме законов, прав, правил, установок и стереотипов. Очевидность и устойчивость традиций, обычаев, нравов, регулирующих властно-политические отношения, не требовала какой-либо особой их регламентации как самостоятельного типа деятельности. Разрушение всеобщей этики общества «традиционного модерна» в СССР как раз и породило насущную необходимость в развитии самостоятельной, секулярной политической теории.

Коммунистическая идеология перестала справляться с задачами легитимации политических решений с помощью воспроизводимой в ней политической этики традиционного общества, наследованной советской культурой от всей предшествующей отечественной истории. Так появляется современное политическое пространство как результат кодификации отношений значимых политических агентов в поле власти. Здесь критерий морали и этики исключается из анализа как ненаучный, и заменяется технологическим критерием эффективности. Таким образом, постсоветская политика приобретает собственный символический капитал, ее поле становится субстанциональным и самовоспроизводящимся через внутренние правила, практики, критерии действия политических агентов.

Ловушка состоит в том, что принципиальный политический выбор общества не может не быть моральным, однако все же подменяется псевдотехнологическими рассуждениями и политической теорией, свободной от морали (ценностей). Это всевозможные «модные» теории принятия решений, теории рационального управления, теории игр, бихевиористский анализ, где скупой математический просчет как вероятностный анализ издержек и выгод различных вариантов политических решений ставит их в зависимость от самого баланса исчислимых прибылей и потерь как *ultima ratio* любого политического спора и противоречия, т.е. от задействуемых средств, но вовсе не от поставленных целей.

Актуальный идеологический тренд отечественной политологии состоял в том, что «...большая часть нормативно насыщенных понятий («справедливость», «нация», «права», «патриотизм», «общество», «добродетель», «тирания» и др.), обуславливавших ранее классические идеи политической науки, вытеснены количественными данными и политическим анализом, которые привнесли такие безжизненные понятия, как «установка», «когниция», «социализация» и система. Это ... привело к смещению научных интересов с критических, нормативно значимых вопросов об основах политики к вопросам об эмпирически управляемом и политически полезном»¹. То есть от демократичного политического дискурса к энкратическому, элитарному дискурсу элиты.

Политический выбор решения осуществляется здесь уже в пределах некоей «нормы», какого-то «уже известного» инварианта базовой матрицы ценностей, которая сама по себе не подвергается принципиальному публичному обсуждению. Спор если и ведется, то лишь о «внутренних» второстепенных аспектах, связанных, как правило, со способом его реализации. Например, речь идет не о том, разрешать или нет частную собственность на землю в принципе, но о том, продавать ее или нет иностранцам, сколько земли давать в одни руки, как продавать, что делать при этом с сельскохо-

¹ *Кабаченко А.П.* Политический процесс и политическая система: источники саморазвития // Вестник МГУ. Сер. 12. Политические науки. 2001. № 3. С. 102.

зайственными землями и т.п. Таким образом общественное мнение, если согласиться с гипотезой его существования¹, элегантно отвлекают от сути проблемы и вся энергия дискуссий выхолщивается на борьбу за мелкие уступки. Обсуждение мелких аспектов определенного варианта решения становится способом его «фоновой» легитимации, признания его возможности. Ведь само наличие подобных «дискуссий» – «общественное обсуждение» без постановки принципиальных альтернатив и оппозиций – легитимирует подобный «выбор без выбора» и «согласие без согласия».

Проблема глобализации как процесса денационализации, трансидеологизации заключается в том, что автономизация политического поля от своих исторических условий и автохтонной культурной среды приобретает экстремальный характер. Глобализация национальных политических полей выстраивается на основе их имманентизации, «овеществления», детерминированности реальным, материальным, посюсторонним, привилегии логики экономической референции в виде глобальной приватизации национальных политик. Глобальное стирание наций-государств как самостоятельных, уникальных субъектов ведет к исчерпанию фундаментальных идей, отсылавших за пределы политического поля к морали, откровению, провидению, мистике, судьбе, добру и злу... Их место занимает негативная постмодернистская идея неведомого идеального «Другого», искупающего самим своим существованием исторические ошибки постсовременной цивилизации.

Но каковы принципы нового метаязыка политики, посредством которого власть будет утверждаться в пространстве информационного общества? Здесь, прежде всего, следует обратить внимание на то, «что» и «как» она говорит и как это следует понимать. Но говорит ли постидеологическая политика что-нибудь вообще, хочет ли она вообще что-либо сказать, чтобы поддержать свою легитимность? По-видимому, уже нет: время политики как реальной коммуникации и диалога закончилось. Постидеологическая поли-

¹ См. напр. критику концепта «общественное мнение»: Бурдые П. Общественного мнения не существует // Социология политики. М.: Socio-Logos, 1993.

тика уже не обязана рационально объяснять свои действия, апеллировать к реальному как последнему аргументу. Главным становится не семантический, а виртуальный метаязык: власть не объясняет, не доказывает, она демонстрирует свою легитимность в новом политическом пространстве – пространстве показа. Осуществляется переход от идеократического к более эффективному в информационном обществе манипулятивному способу организации власти. Вирусная метафора власти приходит взамен генетической. То есть ни один элемент, факт политики не является ни властным, ни невластным, но находится во всеохватывающем поле влияния власти. Власть при этом проявляется и интерпретируется как принцип дополнительности, обратная сторона вещей, неявный член оппозиции, подтекст, контекст, символ, миф, «другое значение» и т.д.

Важный аспект актуальной трансформации политического поля состоит в его профессионализации как способе властного присвоения. То есть в том, что принципы политической практики, фундаментальные общественные проблемы, затрагивающие всех и каждого, определяются Постмодерном как слишком сложные для «простого» человека. Здесь фундаментальность демократического принципа нивелируется абсолютно прямолинейно. Вежливая отсылка субъектов, которые пытаются самостоятельно разобраться в сути происходящего и выработать свое мнение, к изучению все тех же «технических аспектов, условий, требований, традиций, опыта других стран и т.д.» является ни чем иным, как завуалированным утверждением некомпетентности, а следовательно, и нелегитимности мнений представителей гражданского общества, когда они выходят в политике за пределы своих профессиональных и личных интересов, претендуют на собственную интерпретацию и обобщение политических явлений.

Наконец, в глобализирующейся политике сама суть демократии предстает как нестабильный процесс. Причем этот процесс не только «не оптимален» с точки зрения подобных теорий, но вдруг начинает определяться как неподконтрольный, а следовательно, «несущий угрозу демократии». Демократия, «угрожающая самой себе», естественным образом, ведет к концепции, обуславливающей необходимость «управляемой демократии», где осуществляется «своего

рода симбиоз политических декораций демократии и реально действующих механизмов олигархии либо авторитаризма»¹.

То есть структуры гражданского общества устраняются от участия в политических решениях под предлогом их некомпетентности и непредсказуемости в пользу монопольной вертикали ангажированных элитой экспертов с правом решающего голоса². Однако профессиональному эксперту не нужна поддержка демоса. Он говорит только от своего имени. Мнение эксперта опирается только на него самого и священный авторитет науки. Но техничность и профессиональность заключений эксперта не делает его объективным, нагружая различными специфическими «идолами» мышления. Профессионализация политики является модусом ее де-демократизации. Проблема вовсе не в том, что «независимо-объективное» мнение экспертов необходимо власти для укрепления легитимности, а в том, что политический выбор осуществляется исходя из гипотезы, согласно которой составить собственное мнение по какой-либо общественной проблеме способен лишь специалист, профессионально занимающийся данной проблемой. При такой установке общество в целом изначально отсекается от участия в принципиальных политических решениях. В силу этого факта гражданское общество (и его ядро – мифический, «потерявшийся» теоретиками-идеологами и микроскопический в условиях современной России «средний класс») используется государством лишь как главная легитимирующая идеологема – инстанция для легитимации уже принятых решений.

Автономное политическое поле, в современном его понимании, образуется тогда, когда агенты этого поля получают право самостоятельно устанавливать правила его функционирования и определять политические ценности, без оглядки на что-то «вне» этого поля. Можно утверждать, что в России субъекты этого поля и формы их отношений закрепились. Проблема же заключается в смысловой и символической дефектности политического универсума, внутри которого осуществляются эти отношения.

¹ Неклесса А.И. А Ia. С. 40.

² Кара-Мурза С.Г. Экспертное сообщество России: генезис и состояние // Идеология и мать ее наука. М.: Алгоритм, 2002.

Разрыв официального «нормативно-прозападного» дискурса власти с политической реальностью привел к критическому расхождению исторического политического универсума и доминирующей нормативной политической теории, их отчуждению и автономизации. Средством преодоления такого разрыва может стать переориентация теоретического субъекта политической науки на сравнительную политическую историю, политическую этику, рефлексию традиции, политическую онтологию, критику, утопию.

В заключение можно отметить, что постидеологические общественные трансформации и революции являются уже не народными и не демократическими «верхи не могут, низы не хотят», не объективными «конфликт производительных сил и производственных отношений», но субъективными, символическими революциями, в основании которых лежит воля, конструирующая «иное» политическое бытие. Действительное политическое пространство все больше детерминируется пространством виртуальным, пространством представления.

И эта открепленность от традиции, символов аутентичного политического универсума, истории, референта позволяет «осимулякрить» постидеологическую систему политического знания, сохраняя подобное состояние политической науки до тех пор, пока не возникнет новый политический проект, не принадлежащий настоящему, которому, на самом деле, принадлежит и пост-Модерн, но утопические контуры которого только начинают проступать на пороге современности.

В целом дальнейшие перспективы решения заявленных нами проблем и развития отечественной политической науки могут быть связаны с переосмыслением и рефлексией политической науки над своим «внутренним метаязыком», т.е. фундаментальными эпистемологическими аксиомами, которые лежат в основе привилегированной политической нормы как доминирующей методологии получения политических истин.

Это переосмысление предполагает существование теоретически значимого субъекта, способного сформулировать выходящие за пределы «политической физики» конечные начала, задачи и цели отечественной политической науки как единого целого. Проблема в

том, что без аутентичного политического/теоретического субъекта политическая наука способна лишь на технологические заимствования и механическое воплощение принципов «универсальной науки» на примере частного объекта, в который превращается в таком случае весь российский политический универсум. Условием идейно самостоятельной российской политической науки, а не «политологии по поводу России», является существование «теоретического субъекта для себя», сознающего свою связь со значимым политическим субъектом внутри отечественного политического поля.

Это осознание является способом выхода на контекст, жизненный мир системы политического знания, выхода на ценностные ориентиры при формулировании конечных целей и задач политической науки, а не бессубъектного поиска «правильности» по заданному алгоритму, который не проблематизируется. Тавтологическая структура метаязыка создает здесь ситуацию, когда существует лишь один возможный политический субъект – действующая власть. Однако дискурс правящего класса не тождествен дискурсу общества в целом, так как политические интересы нации/государства/классов обычно находятся в конфликтном взаимодействии (в условиях современной России это взаимодействие фактически приняло характер «холодной гражданской войны»). Изначальная проблема, состоящая в том, что политические факты всегда опосредованы чьим-то видением, ценностями, интересами, – просто умалчивается. Принятие политического факта как объективной данности свидетельствует о вольном или невольном согласии оппонентов с господствующей идеологической перспективой, где любой политический факт объективен через тождество доксе, здравому смыслу, общественному мнению, которые определяются, а потому совпадают с мировоззрением и интересами элиты.

Рефлексия ангажированности политической мысли историческим пространством политического универсума является способом обретения теоретической субъектности. Обретение теоретической аутентичности связано с осознанием своей политической субъектности, определения своего места в сетке идеологических координат, практической вовлеченности в историческое пространство данного политического универсума. Аутентичность всегда

субъективна. Реально она достижима в рамках не всех существующих моделей метаязыка. Методологически этот процесс связан с ориентацией на рефлексию политических ценностей, политическую онтологию, историю, осмысление метаязыка политической науки, представление о политике как процессе, вовлекающем в себя как политических деятелей, так и их наблюдателей.

Дальнейшие исследования в обозначенном нами направлении могут быть связаны с осмыслением утопических и критических вызовов будущего, затрагивающих политику в целом. Они требуют соответствующей трансформации эпистемы политической науки, ее метаязыка. Оpozнание структур новых политических проектов может быть связано с разработкой политической риторики, связанной с «новыми врагами и угрозами». «Враги», как ничто иное, способствуют тотализации аморфных идей в концептуальные системы представлений, вокруг которых структурируются коллективные политические субъекты. В этой связке важны и политические «антипроекты» (экологические, фундаменталистские, антиглобалистские, традиционалистские и т.д.), выполняющие роль резонаторов современной политической системы. Их роль увеличивается по мере интенсификации процессов «глокализации», которой они противостоят. Важна здесь и нормативная интерпретация политической перспективы/ретроспективы, определяющей задачи настоящего как «политического реального».

Вряд ли методологической основой нового политического проекта станет критический метаязык. Критический метаязык негативен. Отрицая настоящее, он находит опору только в прошлом/будущем. Настоящее существует для критического метаязыка только как функция от прошлого/будущего, отсюда его «несущественность», вторичность, либо «следственный», либо «предвосхищающий» характер. Этим же определяется и отсутствие в нем позитивной программы, которую можно было бы перевести в план действия «здесь и сейчас», а также реального субъекта, с помощью которого можно было бы осуществить критическую альтернативу настоящему. Поэтому, несмотря на всю эффективность критики настоящего, вряд ли критический метаязык имеет шансы, не трансформируясь, оставаясь в рамках классического Модерна, стать содержанием будущего.

Судьба политического метаязыка Постмодернизма также остается неясной. Остается спорным вопрос о том, что первично в актуальных постмодернистских трансформациях политики: онтологическая революция политического бытия, связанная, например, с техникой, «экономическим базисом» капитализма, глобальным перераспределением труда и капитала, системами массовой коммуникации, либо революция означающих форм, «систем фраз», влияющая на политическую реальность. Что в постсовременной политике доминирует: знаково-виртуальная сфера политики как культурная рефлексия, выводящая за пределы «настоящего» и «реального» – капитализма, социализма, классического Модерна, рациональной науки, или онтологическая трансформация, т.е. новый социально-политический порядок, возникающий уже по ту сторону Современности?

Постмодернизм, акцентируя значимость отличий, теоретически выстраивает себя на внутренней противоречивости Модерна-Современности. Базируясь на реальных отличиях и противоречиях, он строит на них теоретическую систему глобальной политической идентификации. Однако Постмодернизм не может решить проблему их сосуществования в форме политической демократии, предполагающей реальную конкуренцию и иерархизацию различий. Мультикультурализм здесь мгновенно оборачивается этнонационализмом, а различия борьбой за основанные на них привилегии и нормы. Требования равнозначности, толерантности остаются лишь благими пожеланиями, так как значимость различий для политических субъектов в интересующем политическом пространстве не может проявляться лишь в теоретических пожеланиях по поводу способов их толерантного сосуществования, но только через волю к определению реальной значимости отличий, их закреплению в законах, подчеркиванию их асимметрии, исключительности, привилегированности и т.п.

Постмодернистские политические теории симулятивны, не связывая себя с реальностью, т.е. нереальны, а классические, наоборот, слишком реалистичны, функциональны и фактоцентричны, чтобы обеспечить действенную политическую рефлексию в условиях «Нового века», связать воедино политическую теорию

познания, этику и практику. Настоящая ситуация политического мышления характеризуется интуитивным предчувствием грядущего политического проекта, на который указывает Постмодерн, с его крайними формами скептицизма, нигилизма, декадентства, тотальной иронией и вторичностью, которые характерны для «последних времен». Поэтому, указывая на кризис Модерна, Постмодерн не будет содержанием нового политического проекта, новой политической эпистемы, так как сам по себе он содержательно пуст, и эта очищающая пустота освобождает место для чего-то нового, Другого.

Ключевой теоретический концепт постмодернистов – Другой, возможно так никогда и не обретет его в реальности. В целом, проблема Другого является историческим преемником «идеального» онтологического означаемого, в роли которого уже выступали и дикари (дискурс Просвещения), и крестьяне (дискурс народников), и рабочие (дискурс марксизма), и население третьего мира (дискурс антиглобализма) и т.д. Несомненно, что ключевая этическая компонента проблемы Другого имеет на Западе большое значение, придавая через чувство вины высокую интенсивность обдумывания данной проблеме. Однако реальная материализация Другого, как показывает практика, неизбежно приводит к краху этого утопического представления, когда оказывается, что Другой – это эмигрант, беженец, фундаменалист, террорист, штрейкбрехер и пр., а потому, при ближайшем рассмотрении, вовсе не столь идеален и безобиден, как это ему приписывается постмодернистами.

Кроме того, имеет ли разрушение легитимирующей силы политических метарассказов столь большое влияние на состояние политической системы, которое им склонны приписывать те, кто их сочиняет? Замечают ли все эти крахи, катастрофы и сдвиги реальные общества, которым они предназначены, либо мы имеем дело лишь со специфической формой «травмированного реальностью праздного сознания», (Б.Г. Капустин), не покидающего пределов «башни из слоновой кости»?

Во-первых, идейная победа политического Постмодерна означала бы одновременно его конец, связанный с тем, что он поте-

ряет свою «материальную базу», объекты критики в виде привычных идеологий и утопий, через которые он себя теоретически воспроизводит.

Во-вторых, действительно, при всех своих новаторских методологических и критических достоинствах Постмодерн – это «вторичный Модерн». То обстоятельство, что привычные для современности политические ценности и институты Просвещения и Модерна оказываются либо неуниверсальны, либо перестают эффективно работать, вовсе не значит, что они перестали быть необходимы современной политике, что она стала возможна без них, что им существует эффективная альтернатива в настоящем.

В-третьих, борьба постмодернистского метаязыка за субъективный идеализм в политике, принципиальную отмену объективной политической реальности, дискредитацию универсальных политических ценностей, институтов, норм, истин приводит в реальной политике только к войне различий, борьбе всех против всех, партикуляризму и дроблению больших политических форм. Поэтому теоретически естественная гармония частных мнений и существование различий, их суммирование или снятие в логике Постмодерна оказываются невозможным.

В-четвертых, институты и представления классического политического Модерна, на наш взгляд, действительно испытывают кризис, связанный с тем, что он покинул породившую его социокультурную ситуацию Запада и претендует в своем догматическом виде на роль глобального политического проекта. На этом пути возможны два варианта развития событий. Либо политический Модерн сможет трансформироваться во что-то вроде «плюрализма модерностей», избавившись от своих нетранзитивных, уникальных черт особенного, которые характерны только для Запада, в пользу своих черт, которые действительно могут стать всеобщими. Либо Модерн будет в глобальном плане вытеснен постсовременным политическим проектом, который абсолютно точно не будет связан с идейным течением Постмодернизма, так как последний не обладает, формулируя кратко, «позитивной концептуальностью» как спо-

способностью воспринимать и интегрировать «иное» и созидать «тотальное» (универсальное).

На наш взгляд, разрыв сущего и должного в доминирующем энкратическом метаязыке современной российской политики таков, что отсутствие реальных социально-политических взрывов можно объяснить лишь утратой политической теорией обратной связи, резонанса с политическим означаемым, ее постмодернистской автономизацией от политической реальности. Автономизация превращает теорию в обозначение того, чего «уже» или «еще» нет, т.е. в симулирование в реальности того, что должно быть (идеологическая функция). Это, в свою очередь, очень мешает восприятию того, что есть в реальности «на самом деле».

Сегодня российская политическая система не обладает характеристиками тотальности и целостности, поскольку стоящий за ней комплекс скрепляющих власть политических идей фрагментирован и ситуативен. Официальная идеология, фактически, не может впасть в системный кризис «по определению», поскольку носит виртуальный характер, усиливаемый отсутствием реальной, т.е. опирающейся на «действительные социальные субъекты», системно-структурной оппозиции, могущей этот кризис породить. С равным основанием можно сказать, что постсоветская политика является, с классической идеологической точки зрения, сплошным кризисом, приобретшим черты «естественности». То есть реальная политика остается на протяжении всего постсоветского периода деидеологизированной, персонализированной, фрагментарной и контекстуальной, отсылающей в качестве своего конечного означаемого к «иному», будь то Запад, СССР, воображаемая Евразия/Азиопа или «светлое глобальное капиталистическое/коммунистическое будущее». В любом случае постсоветская реальность оказывается функцией от порядка «иного». Отсюда возникает постмодернистская проблема «реальности» настоящего.

Рационализированные универсальные политические ценности и критерии «идеологического периода» перестают эффективно работать. Это вовсе не значит, что они перестали быть политике необходимы, что она стала возможна без них. Политика в современном идеологическом виде возможна только как «общее дело», невозможное без опре-

деления его статуса всеобщности и отсылки к Большим Субъектам: государству, истории, классу, традиции, элите, нации и т.д. В этом смысле Постмодернизм не несет практического решения поставляемых им же дилемм и парадоксов, не порождая политического субъекта. Отсутствие жесткой тотализирующей нормы означает, в реальной политике, только еще более жесткую войну за норму.

Работа над разрешением обозначенных Постмодерном политических противоречий и дилемм Модерна, осмысление новых утопических и критических вызовов, затрагивающих мировую политику в целом и трансформирующих эпистему политической науки, освоение политической наукой неклассических и междисциплинарных методов исследования, осмысление политических тенденций «Нового века» – является актуальным направлением для дальнейших исследований.

Опасность на этом пути, на наш взгляд, состоит в том, что операция снятия, синтеза противоречий весьма коварна. Часто эстетичность или механическое сложение выступают как субституты самой истины. Поверхностный синтез возможен всегда, но не всегда он в последующем дееспособен. Существует целый ряд концепций, связанных с именами К.-О. Апеля, Ю. Хабермаса, Р. Рорти и др.

Эти авторы в своих концепциях стремятся синтезировать указанные нами методологические различия. Ловушка состоит в том, что подобные синтезы остаются латентно противоречивыми уже внутри самих себя. На самом деле, осознания теоретиком заявленных различий вполне достаточно для совершенствования любой модели метаязыка политической науки. Наша позиция состоит в том, что конструирование принципов нового политического метаязыка, который синтезировал бы выделенные нами в книге методологические противоречия, не представляется возможным, поскольку эти противоречия являются, на наш взгляд, более значимыми, чем возможные тождества, снятия и синтезы, которые предлагаются в настоящем.